

Даниэль Пеннак

Школьные страдания

«Школьные страдания: [эссе] / Даниэль Пеннак»: Амфора; СПб.; 2009
ISBN 978-5-367-01118-0

Аннотация

В основу книги современного французского прозаика легли его личные переживания двоякого рода — опыт отстающего ученика и наблюдения «продвинутого» учителя. Это легкое, изящное, остроумное сочинение в 2007 г. было удостоено престижной французской литературной награды — премии Ренодо.

Минне. Сколько лет!

*Фанион Дефосс, Пьеру Арену, Жозе Риво,
Филиппу Бонне, Али Мехиди,
Франсуазе Дусе и Николь Арле —
спасителям учеников, так сказать*

*А также памяти Жана Ролена,
который никогда
не отчаивался в отношении
такого двоечника, как я*

I. ПОМОЙКА ДЖИБУТИ

*Статистически все объясняется,
в личном плане все усложняется.*

Начнем с эпилога. Мама на пороге своего столетия смотрит фильм об одном писателе, которого она прекрасно знает. Писателя показывают у него дома, в Париже, среди его

собственных книг, в библиотеке, которая служит ему кабинетом. Окно комнаты выходит на школьный двор. Переменка. Гвалт невыносимый. Зритель узнаёт, что в течение четверти века писатель работал учителем и теперь, выбрав себе жилье окнами на школьный двор, уподобился железнодорожнику, который, выйдя на пенсию, поселяется вблизи сортировочной станции. Затем писателя показывают в Испании, в Италии; вот он беседует с переводчиками, вот перешучивается со своими венецианскими друзьями, вот вышагивает в одиночестве по горному плато в Веркоре¹, окруженный туманными далями, и рассуждает о своей профессии, о языке, стиле, структуре романа, персонажах... Еще один кабинет, на сей раз окнами на альпийские красоты. Все эти сцены перемежаются кадрами, в которых о своей работе говорят любимые писателем деятели искусств: кинематографист и писатель Дай Сыцзе, иллюстратор Жан-Жак Сампе, певец Тома Ферзен, художник Юрг Крейенбюль.

Снова Париж. Писатель за компьютером, теперь уже среди своих словарей. Это его страсть, говорит он. И тут мы узнаём (это концовка фильма), что статья о писателе вошла в словарь «Робер», на букву «П», под заголовком «Пеннак», а между тем настоящая фамилия его — Пеннаккьони, а имя — Даниэль.

И вот мама смотрит этот фильм вместе с моим братом Бернаром, который и записал его для нее на кассету. Смотрит от начала до конца, не отрываясь, не говоря ни слова, сидя неподвижно в своем кресле среди наползающих сумерек.

Конец фильма.

Титры.

Тишина.

Потом, медленно обернувшись к Бернару, она спрашивает: «Ты думаешь, он когда-нибудь из этого выберется?»

2

Дело в том, что я плохо учился и она так и не оправилась от этого. Сегодня, когда ее старческое сознание все чаще покидает берега настоящего, плавно откатываясь к далеким архипелагам памяти, первые же рифы, встречающиеся на этом пути, напоминают ей о тревоге, которая мучила ее все мои школьные годы.

Обратив на меня озабоченный взгляд, она медленно произносит: «Так чем же ты занимаешься?»

Мое будущее всегда казалось ей настолько сомнительным, что она до сих пор не уверена в моем настоящем. Она всегда считала, что из меня не выйдет ничего путного, да и для того, чтобы хоть сколько-то продержаться на плаву, я, по ее мнению, не был достаточно «снаряжён». Непутевый я был сын. Правда, когда в сентябре 1969 года я впервые вошел в класс в качестве учителя, она поняла, что я кое-как выкарабкался. Однако все последующие десятилетия (иначе говоря, всю мою взрослую жизнь) ее беспокойство за меня тайно сопротивлялось всем доказательствам моих успехов, которые она получала из моих звонков, писем, визитов, вышедших в свет книг, газетных статей или появлений на телевидении в шоу Бернара Пиво. Ни стабильность моей профессиональной жизни, ни признание моей литературной деятельности — ничто из того, что она узнавала обо мне от других или о чем читала в прессе, — не могло успокоить ее окончательно. Конечно же, она радовалась моим успехам, обсуждала их с друзьями, соглашалась, что отец, который умер, так и не узнав о них, был бы просто счастлив, но в глубине ее сердца продолжала жить тревога, которую заронил туда тот самый двоечник², которым я был когда-то. И в этом выражалась ее

¹ Веркор — горный массив в предгорьях французских Альп, в департаментах Дром и Изер. (Здесь и далее — примеч. пер.)

² На самом деле во французских школах используется двадцатибалльная система оценок, и наших пресловутых двоек там фактически не ставят. В оригинале употребляется слово *sancre* (букв. лентяй, тупица),

материнская любовь. Когда я начинал подтрунивать над радостями материнства, она отвечала милой шуткой а-ля Вуди Аллен: «Что ты хочешь? Не все еврейки — матери, но все матери — еврейки».

И сегодня, когда моя еврейская старушка мама уже не совсем присутствует в настоящем времени, эта тревога снова читается в ее глазах, обращенных на младшенького шестидесяти лет от роду. Тревога, заметно ослабшая, такая ископаемая обеспокоенность, превратившаяся скорее в привычку, но еще достаточно острая для того, чтобы, взяв меня за руку, мама спросила в момент прощания: «А у тебя в Париже есть квартира?»

3

Итак, я учился плохо. В детстве каждый вечер, возвращаясь домой из школы, я чувствовал, что она не отпускает меня. Мой дневник возвещал о недовольстве учителей. Когда я не был последним в классе, то был предпоследним. (Шампанского!) Наглухо закрытый сначала для арифметики, потом для математики, глубоко и хронически безграмотный, устойчиво невосприимчивый к запоминанию дат и определению местоположения на карте, неспособный к изучению иностранных языков, отъявленный лентяй (невыученные уроки, несделанные домашние задания), я носил домой жалкие результаты своего обучения, которых не могли искупить ни успехи в музыке, ни спортивные достижения, ни любая другая внешкольная деятельность.

«Ты понимаешь? Ты *хотя бы понимаешь*, что я тебе объясняю?»

Я не понимал. Эта неспособность к пониманию коренилась так далеко в моем детстве, что в поисках ее истоков в семье сочинили легенду, согласно которой все началось, когда я осваивал азбуку. Всю жизнь слышал я разговоры о том, что на запоминание буквы «а» у меня ушел целый год. Буква «а» — за год. Пустыня моего невежества начиналась за непреодолимой буквой «б».

«Без паники: каких-нибудь двадцать шесть лет, и он выучит весь алфавит» — отец старался иронией рассеять собственные опасения. Много лет спустя, когда я остался на второй год в выпускном классе, чтобы все же получить упрямо не дававшийся мне в руки аттестат зрелости, он скажет иначе: «Не беспокойся, в конце концов даже с выпускными экзаменами вырабатывается автоматизм...»

Или в сентябре 1968 года, когда я получил диплом филфака: «Для диплома тебе понадобилась революция³. Что же, если ты решишься на диссертацию, ждать мировой войны?»

Все это изрекалось совершенно беззлобно. Это был своего рода сговор. Мы с отцом быстро выбрали средством общения смех.

Но вернемся к началу моей деятельности. Младший из четырех сыновей, я оказался особым случаем. Родителям не удалось потренироваться на моих старших братьях, школьные годы которых прошли если не блестяще, то, по крайней мере, достаточно гладко.

Моя же непрошибаемая тупость постоянно приводила их в оцепенение. «У меня просто руки опускаются», «Нет, я больше не могу!» — эти привычные для меня восклицания взрослых сопровождались взглядами, в которых зияла пропасть недоверия, порожденного моей неспособностью усвоить что бы то ни было.

Все всё понимали быстрее меня.

«Ну ты совершенная пробка!»

Как-то днем в год окончания школы (один из годов окончания школы), когда отец

для перевода которого наиболее подходит русское «двоечник», обозначающее то же самое понятие — плохого ученика, несущего на себе это клеймо все школьные годы.

³ В 1968 году студенческие и последовавшие за ними рабочие волнения во Франции стали началом серьезного кризиса, который иногда приравнивается историками к революции.

объяснял мне тригонометрию в комнате, служившей нам библиотекой, наш пес потихоньку улегся за нашими спинами на постель. Через некоторое время он был обнаружен и немедленно изгнан: «Вон, собака! Иди в свое кресло!»

Однако не прошло и пяти минут, как пес снова возлежал на постели. Он просто приволок с кресла свою старую подстилку и расположился на ней. Что вызвало, естественно, всеобщее заслуженное восхищение: животное смогло связать запрет с абстрактной идеей чистоты и сделать вывод, что для пребывания в обществе хозяев ему надо позаботиться о подстилке. Какой умница, ведь это настоящее логическое построение! Забавное событие стало темой домашних разговоров на годы вперед. Я же извлек из случившегося свой урок: даже дворняга соображает быстрее меня. Кажется, я тогда прошипел ему на ухо: «Завтра сам пойдешь в школу, подхалимская морда!»

4

Два господина средних лет прогуливаются по берегу Лу, реки их детства. Два брата. Мой брат Бернар и я. За полвека до того они ныряли в эти прозрачные воды. Плавали среди уклеек, которых совершенно не пугало их плесканье. Фамильярность рыбешек наводила на мысль, что счастье будет длиться вечно. Река текла меж валунов. Когда братья добирались по ней до моря — то плывя по течению, то перескакивая с камня на камень, — им случалось терять друг друга из виду. Чтобы не потеряться, они научились свистеть в два пальца. Длинные трели отражались от скалистых берегов.

Сегодня река обмелела, рыба исчезла, склизкая стоячая пена свидетельствует о победе моющих средств над природой. От нашего детства осталось лишь пение цикад и смолистый солнечный зной. И еще мы по-прежнему умеем свистеть в два пальца и ни разу не потеряли друг друга из «слуха».

Я признаюсь Бернару, что мечтаю написать книгу о школе; не о той школе, что меняется вместе с изменяющимся обществом, как меняется эта река, нет, а об этом бесконечном коловращении, о том, что остается неизменным, именно о некой постоянной величине, о которой никогда не говорят: *о совместных страданиях двоечника, его родителей и его учителей*, о взаимодействии этих школьных страданий.

— Ничего себе программка... Ну, и с чего ты собираешься начать?

— С тебя, например. Какие у тебя сохранились воспоминания о моей тупости, скажем... в математике?

Мой брат Бернар, единственный в нашей семье, был способен помочь мне с уроками так, чтобы я при этом не замыкался, подобно устрице в своей раковине. Мы делили с ним одну комнату до самого моего перехода в пятый класс, когда меня отдали в интернат.

— В математике? Ну, знаешь, это началось еще с арифметики! Однажды я спросил, что тебе надо сделать с дробью, над которой ты сидел. А ты ответил на автомате: «Ее надо свести к общему знаменателю». Дробь-то была одна, следовательно, и знаменатель в наличии был один, но ты уперся: «Ее надо свести к общему знаменателю!» Я пытался достучаться до тебя: «Раскинь мозгами, Даниэль, здесь только *одна* дробь, значит, и знаменатель *один!* », но ты окрылся: «Математик сказал: дроби надо сводить к общему знаменателю!»

И два взрослых дяди заулыбались, продолжая прогулку. Все это осталось так далеко. Один из них двадцать пять лет проработал учителем: две с половиной тысячи учеников, что-то около того, из них немало, как говорится, «трудновоспитуемых». Оба уже отцы семейств. «Математик сказал...» — они и сами теперь это слышат. Заклинание, в которое двоечник вкладывает все свои надежды, да... Слова учителя — это бревна, за которые бедняга цепляется, плывя по течению, увлекающему его к водопаду. Он повторяет то, что сказал учитель. Не потому, что в этом есть какой-то смысл, не для того, чтобы применить некое правило, нет, а для того, чтобы уйти от расспросов — хоть на время, чтобы от него, в конце концов, отстали. Или чтобы его любили. Во что бы то ни стало.

— ...

— Так что, еще одна книжка о школе? Считаешь, их недостаточно?

— Да не о школе! Все только и занимаются что школой, вечные споры старых и новых: программы, социальная роль, цели, школа сегодня, школа завтра... Нет, это будет книга о двоечнике! О непонимании, этой муке мученической, и ее побочных эффектах.

— ...

— ...

— Тебе что, так здорово тогда досталось?

— ...

— ...

— Расскажи еще, каким я был двоечником.

— Ты жаловался, что у тебя плохая память. Уроки, которые я заставлял тебя выучить вечером, за ночь из нее испарились. Утром ты уже ничего не помнил.

Это точно. Не рубил я, как выражается сегодняшняя молодежь. Не рубил, не въезжал. Простейшие слова теряли свой смысл, едва мне предлагали взглянуть на них как на объект познания. Если мне надо было выучить урок о горном массиве Юра, например (это больше чем пример, это вполне конкретное воспоминание), коротенькое слово из трех букв распадалось на глазах, теряя всякую связь с областью Франш-Конте, с департаментом Эн, со знаменитыми на всю страну часами, виноградниками, трубками, высокогорными пастбищами, коровами, зимними холодами, швейцарской границей, альпийскими горными массивами и просто горами. Оно больше ничего не значило. Юра, повторял я про себя. Юра? Юра... И без усталости твердил это слово, словно малое дитя, которое все жует и жует, не глотая, повторяет, не понимая, до окончательной потери вкуса и смысла, жевал, повторял: Юра, Юра, юра, юра, ю-ра, ю-ра, йу-рра, йууу-ррра, юраюраюраюра, — пока слово не становилось однородной звучащей массой, лишенной малейшего намека на смысл, — нечленораздельное пьяное мычание в рыхлом мозгу... Так вот и засыпают люди на уроках географии.

— Ты еще говорил, что ненавидишь заглавные буквы.

А! Точно! Эти жуткие часовые — заглавные! Мне казалось, что они специально встают между именами собственными и мной, чтобы помешать нашему общению. Любое слово, начинавшееся с большой буквы, было обречено на немедленное забвение: города, реки, битвы, герои, договоры, поэты, галактики, теоремы вычеркивались из памяти по одному признаку — присутствию в них заглавной буквы, парализующей волю и память. «Стоять! — кричала заглавная. — Сюда нельзя! Это имя *собственное*! Крестинам вход воспрещен!»

— А кретин-то пишется с маленькой! — уточнил Бернар, идя рядом со мной по тропинке.

И оба брата рассмеялись.

— А позже — то же самое с иностранными языками: я просто не мог отделаться от мысли, будто все, что на них говорится, слишком умно для меня.

— Что освобождало тебя от обязанности учить слова.

— Английские слова были для меня так же неуловимы, как и имена собственные...

— ...

— ...

— В общем, напридумывал ты себе всякого...

Да уж, такова особенность двоечников и признанных тупиц — они все время придумывают всякое, убеждая самих себя в собственной тупости: я не смогу; все равно ничего не выйдет, не стоит и пробовать; и так ясно, что будет; я же вам говорил, школа — это не для меня... Школа представляется им закрытым клубом, вход в который для них заказан. И иногда в этом им помогает кое-кто из учителей.

— ...

— ...

Два господина средних лет прогуливаются вдоль берега реки. Наконец они

оказываются у поросшей камышами заводи с галечным берегом.

Бернар спрашивает:

— Ну как, а блинчики-то пускать не разучился?

5

Естественно, встает вопрос о первопричине. Откуда она, эта моя тупость в учебе? Сын государственных служащих, выросший в дружной семье, без конфликтов, в окружении наделенных чувством ответственности взрослых, которые помогали мне готовить домашние задания... Отец — выпускник Политехнического института, мать — домохозяйка; в семье ни разводов, ни алкоголиков, ни трудновоспитуемых, ни дурной наследственности; братья с аттестатами зрелости, два учатся на математическом, будущие инженеры, третий — офицер; размеренная жизнь, правильное питание, домашняя библиотека, культурная обстановка в полном соответствии со средой и эпохой (и мама, и папа родились до 1914 года): живопись до импрессионистов, литература до Малларме, музыка до Дебюсси, русские романы, самые передовые увлечения — это неизбежный Тейяр де Шарден⁴, Джойс и Чоран⁵... Спокойные беседы за столом, культурные, с юмором.

И на тебе — двоечник, тупица.

Не найти этому объяснения и в семейной истории. История эта при жизни трех поколений была поступательным движением по социальной лестнице, которое стало возможным благодаря светскому, бесплатному и обязательному, образованию, — этакое республиканское восхождение, победа в стиле Жюль Ферри⁶... Другой Жюль, дядя моего отца, просто Дядюшка, Жюль Пеннакьони, вел к аттестату зрелости детей из корсиканских деревень Гаргале и Пила-Канале, откуда берет корни наша семья; именно благодаря ему во Франции и в ее колониях появились целые поколения школьных учителей, почтальонов, жандармов и прочих госслужащих (ну, может, еще и какое-то число бандитов, но он хотя бы сумел привить им любовь к чтению). Говорят, что Дядюшка устраивал диктанты и контрольные по арифметике абсолютно для всех и в любых обстоятельствах; рассказывают, что он даже похищал детей, которых родители не пускали в школу во время сбора каштанов. Он перехватывал ребятишек в лесу и уводил к себе, а отцу-рабовладельцу объявлял: «Верну тебе сына, когда он получит аттестат!»

Даже если это легенда, она мне очень нравится. Думаю, профессию учителя иначе и нельзя себе представить. Говорящие всякие гадости о школе не принимают в расчет того, сколько детей она спасла от пороков, предрассудков, чванства, невежества, глупости, алчности, от косности или покорности судьбе, царивших в их семьях.

Такой вот Дядюшка.

И вдруг, три поколения спустя, я — двоечник!

Какой позор для Дядюшки, если бы он только знал... К счастью, он умер до моего рождения.

И дело не только в славном прошлом. Последний представитель все более и более дипломированной династии, я был просто социально запрограммирован на то, чтобы стать красой и гордостью фамилии: сначала Политехнический или Педагогический институт⁷,

⁴ *Тейяр де Шарден, Пьер* (1881–1955) — французский палеонтолог, философ и теолог. Развил концепцию «христианского эволюционизма», сближающуюся с пантеизмом.

⁵ *Чоран, Эмиль Мишель* (1911–1995) — румыно-французский мыслитель-эссеист.

⁶ *Ферри, Жюль* (1832–1893) — премьер-министр Франции в 1880–1881 и 1883–1885 гг. Его имя связано с введением во Франции обязательного, бесплатного и светского начального образования.

⁷ Для поступления в эти престижные высшие учебные заведения требуется пройти особый конкурс.

потом, очевидно, Национальная школа администрации, Счетная палата, ну там министерство какое-нибудь... Никак не меньше. Затем должен последовать результативный брак и производство на свет детишек, с самой колыбели предназначенных к учебе в Лицее Людовика Великого и поступательному движению к кормилу власти либо в Елисейском дворце, либо в каком-нибудь транснациональном косметическом консорциуме. Банальнейший социальный дарвинизм, воспроизведение элиты...

Ан нет — двоечник.

Двоечник — без какого бы то ни было исторического обоснования, без социологических причин, без нелюбви, сам по себе двоечник. Единица измерения.

Почему?

Ответ на это можно было бы, вероятно, найти в кабинете психолога, но в то время школьный психолог еще не заменил семью. А потому обходились подручными средствами.

У Бернара, например, свое объяснение:

— В шесть лет в Джибути⁸ ты упал в помойку.

— В шесть лет? То есть в год буквы «а»?

— Ну да. На самом деле это была городская свалка. И ты свалился туда с забора. Не помню уж, сколько времени ты там мариновался. Ты пропал, тебя везде искали, а ты в это время барахтался там под палящим солнцем — думаю, было что-то около шестидесяти градусов. Страшно себе представить, на что это было похоже.

В конечном счете, образ помойки вполне соответствует чувствам ученика, окончательно потерянного для школы, ощущающего себя каким-то мусором. Кроме того, я не раз слышал слово «помойка» в применении к частным учебным заведениям, принимающим (за какие деньги?) отбросы средней школы. Я провел в такой «помойке» несколько лет, с пятого по первый класс, на пансионе. И среди всех учителей, которых я там пережил, было четверо, которые меня спасли.

— Когда тебя выудили из помоев, ты заболел — сепсис. Два месяца тебя кололи пенициллином. Несладко тогда тебе пришлось, ты тряся, как заяц. Как только медсестра бралась за шприц, тебя часами приходилось искать по всему дому. Однажды ты укрылся в шкафу, который упал на тебя.

Боязнь уколов — вот красноречивая метафора: все школьные годы я провел, скрываясь от учителей, которых представлял себе такими Диафуарусами⁹, вооруженными гигантскими шприцами и только и думающими, как бы засадить укол бедному ребенку (прекрасно помню эту жгучую боль от пенициллина пятидесятых годов — будто под кожу впрыскивают расплавленное олово).

В любом случае, да, именно страх был главным чувством в мои школьные годы — и главным препятствием. А потому, став учителем, я первым делом стараюсь искоренить страх в своих двоечниках, чтобы снять это препятствие и дать знаниям шанс просочиться в их головы.

6

Мне приснился сон. Не детский, а сегодняшний, связанный с этой самой книгой, которую я пишу. Приснился сразу после написания предыдущей главы. Я сижу в пижаме на краю кровати. На ковре передо мной разбросаны большие пластмассовые цифры — наподобие тех, с которыми играют совсем маленькие дети. Я должен сложить их «по

⁸ *Джибути* — столица одноименного государства на северо-востоке Африки, бывшей французской колонии, получившей независимость в 1977 году.

⁹ *Диафуарус* — персонаж комедии Мольера «Мнимый больной», врач.

порядку». Это условие задачи. Сама операция кажется мне легкой, я доволен. Я наклоняюсь и протягиваю руку к цифрам. И вдруг замечаю, что руки исчезли. В рукавах пижамы нет рук! Рукава пусты. Я в ужасе, но не от потери рук, а от невозможности дотянуться до цифр, которые я должен расставить по порядку. А ведь я смог бы это сделать.

7

Впрочем, внешне я был живым, подвижным ребенком, при этом без всякого буйства. Ловко управлялся с шариками и бабками, был непобедим в обезьяньих салках, чемпион мира в битвах на подушках, — короче говоря, я играл. Болтун и весельчак, можно даже сказать, остряк, я заводил себе друзей среди соучеников всех уровней, не только двоечников, но и лидеров класса — предрассудками я не страдал. Некоторые учителя вменяли эту сверхвеселость мне в вину. Такой тупой и такой наглый! Элементарная вежливость двочника состоит в тихом и скромном поведении: тут идеально подошел бы мертворожденный ребенок. А вот я был жизнелюб «по жизни», если можно так выразиться. Игра была моим спасением от тоски, наваливавшей на меня, как только я оставался один на один со своим стыдом. Боже мой, что за мука это одиночество и постоянный стыд от того, что ты *никогда ничего не делаешь как надо!* Хочется убежать куда-нибудь... Но куда? Неясно. Убежать от себя самого, скажем так, при этом внутрь себя самого. Но в такого «себя», который был бы приемлем для остальных. Видимо, с этим желанием убежать и связан мой почерк — тот, который предшествовал моему настоящему почерку. Вместо букв алфавита я рисовал человечков, которые сбивались в веселую ватагу где-то за полями тетрадного листа. Сначала я, конечно, старался — выводил худо-бедно свои буквы, но они сами собой превращались вдруг в маленькие существа, веселые и прыгучие, убегавшие куда-то, чтобы резвиться и веселиться на свободе. Идеограммы моего жизнелюбия.

Я до сих пор еще пользуюсь этими человечками, когда надписываю книги. Они служат мне добрую службу каждый раз, когда я вынужден преодолевать эту изысканную банальность — начертание дарственных надписей на титульном листе. Они друзья моего детства, и я храню им верность.

8

Подростком я стал мечтать о более реальной компании. Время было не то, среда тоже, мое окружение никак не способствовало этому, но и сейчас я со всей решительностью заявляю, что, будь у меня возможность сколотить банду мальчишек, я бы сделал это. И с радостью! Мои товарищи по играм для этого не подходили. Я существовал для них лишь во время школьных перемен; в классе дружба со мной их компрометировала — я чувствовал это. Ах, раствориться в компании, где школьная жизнь не имела бы никакого значения, — вот мечта! В чем прелесть такой банды? В том, что, растворяясь в ней, ты одновременно самоутверждаешься. Прекрасная иллюзия самоопределения личности! Все, что угодно, — лишь бы забыть об ощущении абсолютной чуждости школьному миру, инородности, ускользнуть от презрительных взглядов взрослых. Ох уж эти вездесущие взгляды! Единство вместо вечного одиночества, воля вместо застенка, «где-то там» вместо «тут». Любой ценой сбежать с этого необитаемого острова, острова двочника, пусть даже на пиратском судне, где нет довода сильнее кулака и откуда прямой путь в тюрьму — в лучшем случае. Я чувствовал себя настолько слабее остальных — учителей, взрослых, и их сила — законная, допустимая — была настолько сокрушительнее самого тяжелого кулака, что временами меня одолевала чуть ли не маниакальная жажда мести. (Четыре десятилетия спустя восклицание «Ненавижу!» в устах подростков несколько не удивило меня. Усиленное целым рядом новых факторов — социологических, культурных, экономических, — оно по-прежнему выражало эту так знакомую мне жажду мести.) К счастью, мои товарищи по играм были не из тех, кто

сбивается в ватаги, а я не мог принадлежать ни к какой «местной» группировке. А потому я стал сам себе компанией, как поется в песне Рено, компанией весьма малочисленной, надо сказать, верша в одиночестве тайное отмщение. Например, похитив под покровом ночи из школьной столовой консервированные говяжьи языки (целую сотню!), я прибывал их к двери эконома за то, что тот кормил нас ими два раза в неделю, причем если мы их не съедали, то на следующий день снова обнаруживали у себя в тарелках. Или привязывал селедку к глушителю новенькой тачки нашего англичанина (как сейчас помню, это была «ариан», с покрышками, отделанными белым кантом, — как ботинки сутенера), которая стала от этого вонять горелой рыбой самым необъяснимым образом, да так, что в первые дни и от ее владельца за версту несло рыбным духом. Или вот еще: как-то, когда главный надзиратель оставил меня на выходные в пансионе, я набил в его комнату тридцать куриц, притащенных с окрестных ферм. В какой великолепный курятник превратилось его жилище, и это всего за три дня! Куриный помет, прилипшие повсюду перья, солома для полноты картины, битые яйца, и все щедро пересыпано кукурузными зернами. А запах! И когда вернувшийся с отдыха главный сатрап блаженно открыл дверь, перепуганные пленницы ринулись в коридор, и все стали за ними гоняться — это был просто праздник!

Глупо, конечно, это было глупо, гадко, нехорошо, непростительно... И при том совершенно бесполезно: наказания такого рода нисколько не улучшают характер преподавателей... И тем не менее я никогда — до самой смерти — не буду сожалеть об этих курицах, о селедке и о бедных быках с отрезанными языками. Как и дурацкие человечки, они были членами моей банды.

9

Педагогическая константа: за редким исключением, одинокого мстителя (или тайного хулигана — это как посмотреть) никогда не выдадут. Как и он никогда не выдаст другого, совершившего нечто подобное. Солидарность? Не уверен. Скорее, дело тут в некоем сладострастном удовольствии, которое доставляют бесплодные попытки начальства расследовать очередное преступление. И возмутителя спокойствия совершенно не волнует, что все его соученики будут наказаны — лишены того и этого, — пока он не сдастся. Напротив, это дает ему повод ощутить себя участником сообщества — наконец-то! Вместе со всеми он называет «гадостью» то, что столько «ни в чем не повинных» должны «расплачиваться» за одного «виновного». Ужасающая искренность! Тот факт, что он и есть этот «виновный», в расчет больше не берется. Наказав всех, власти дали ему возможность сменить регистр: выходя за пределы области чистых фактов, касающихся расследования, мы вступаем в зону принципов; и, будучи хорошим мальчиком, он твердо стоит на принципе справедливости.

«Они не могут найти того, кто это сделал, и заставляют нас всех расплачиваться: какая гадость!»

Его совершенно не трогает, что он может быть назван трусом, вором, вруном или еще кем-то там, что обвиняющая сторона громогласно будет выражать свое презрение к таким негодяям, которые «не имеют мужества ответить за свои поступки». Главное, что в этом он услышит лишь подтверждение того, что ему говорили уже тысячу раз, и что он совершенно согласен с обвинителем (есть в этом даже некое особое наслаждение, в таком тайном согласии: «Да, ты прав, я именно тот негодяй, о ком ты говоришь, я даже хуже, — если б ты только знал...»), и потом, что именно он, он один, и никто другой из присутствующих учеников, имел мужество темной ночью, в полном одиночестве развесить, например, на громоотводе три сутаны надзирателя. Несколько часов эти сутаны пиратским флагом развевались над школой, и ни одна душа никогда не узнает, кто поднял это чудно е знамя.

А если вместо него обвинят кого-то другого, честное слово, он и тут промолчит,

потому что прекрасно знает свой мир и вместе с Клоделем¹⁰ (которого никогда не прочтет) может сказать, что «некоторые заслуживают несправедливости».

Он не выдаст себя. Потому что смирился со своим одиночеством и перестал наконец его бояться. Он больше не отводит глаз. Посмотрите, вот он, виновный с невинным взглядом! Под молчанием он прячет единственное в своем роде наслаждение: сознание того, что *никто и никогда не узнает!* Ощущая себя ничьим, начинаешь в конце концов клясться самому себе.

А еще он испытывает мрачную радость от того, что стал непонятен тем, кто облечен знаниями и кто постоянно попрекает его в том, что он ничего и ни в чем не понимает. Он обнаружил наконец в себе хоть какую-то способность — пугать тех, кого сам боялся, — и всю ее использует. Никто не знает, на что он способен; вот и хорошо.

Так вот и рождается преступность — когда все умственные способности тайно помещаются в хитрость.

10

Однако было бы неправильно сводить мой образ в школьные годы к одному лишь тайному мщению. (Кстати, к тем трем сутанам я не имел никакого отношения.) Неунывающий двоечник, замышляющий по ночам очередную проделку, неуловимый Зорро, воздающий врагам за детские обиды, — я и сам был бы не прочь видеть себя таким лубочным героем, если бы на самом деле не был совсем другим — мальчишкой, готовым на любую сделку с совестью ради одного доброжелательного взгляда кого-нибудь из взрослых. Соглашателем, выклянчивающим потихоньку благосклонность учителей: да, мсье, вы совершенно правы... нет, что вы, я не такой глупый, я хороший, я исправлюсь, я... Ох, что это было за унижение, когда сухая фраза возвращала меня к осознанию собственного ничтожества. Ох, что за мерзостное чувство счастья я испытывал, когда, наоборот, удостаивался пары якобы добрых слов, которые тут же запирывал, как самое дорогое сокровище, в тайники своей души... А как я несся в тот же вечер докладывать об этом родителям: «А мы сегодня так хорошо разговаривали с мсье Таким-то!...» (он еще и разговаривает, совершенно справедливо думал, наверно, мой отец...).

Долго потом таскал я за собой воспоминания об этом позоре.

С первых моих неудач мною овладели ненависть и жажда любви — одновременно. Я словно пытался задобрить некое чудовище — школьного людоеда. Я был готов на все, лишь бы он не сожрал мое сердце. Например, в шестом классе я участвовал в подготовке ко дню рождения нашего учителя, который тем не менее постоянно ставил мне за диктант плохие отметки. «Тридцать восемь ошибок, Пеннаккьони, все хуже и хуже!» Я ломал голову над подарком, который действительно понравился бы этому гаду, собирал деньги с одноклассников и докладывал свои, потому что жуть, которую я для него выбрал, стоила больше, чем я собрал.

В те времена в буржуазных домах были несгораемые шкафы. Так, чтобы поучаствовать в подарке для моего мучителя, я умудрился вскрыть сейф у нас дома. Такой маленький пузатый несгораемый шкафчик, где дремлют семейные секреты. Ключ, колесики — одно с цифрами, другое с буквами. Где родители держат ключ, я знал, но на подбор нужной комбинации у меня ушло несколько ночей. Колесико, ключ — не открывается. Колесико, ключ — не открывается. Не открывается. Нет, ничего не выйдет. И вдруг раз — щелчок, дверца открыта! Есть от чего застыть в потрясении — дверца в тайный мир взрослых! Тайный, но, как оказалось, очень благопристойный: несколько облигаций, думаю русских займов, спавших там в ожидании воскресения, пистолет — табельное оружие

¹⁰ Клодель, Поль (1868–1955) — французский поэт, драматург, эссеист, крупнейший религиозный писатель XX века. Приведенная ниже фраза взята из «Дневника» писателя за сентябрь 1920 года.

двоюродного дедушки — с полной облойкой, но со спиленным бойком, ну и деньги, немного, несколько купюр, из которых я изъяс сумму, необходимую для финансирования подарка.

Украсть деньги, чтобы купить на них расположение взрослых... Это было не совсем воровство, да и никакого расположения мне купить не удалось. Тайна моя была раскрыта, когда в тот же год я подарил маме один из кошмарных японских садиков, которые были в ту пору в большой моде и стоили немислимых денег.

Событие имело три последствия: мама заплакала (что случалось очень редко), убежденная в том, что произвела на свет взломщика сейфов (единственный вид деятельности, в котором ее младшенький проявил недюжинные способности), меня отправили в интернат, и в течение всей последующей жизни я больше не смог ничего спереть, даже когда воровство вошло в большую моду среди молодежи моего поколения.

11

Тем, кто связывает появление банд единственно с проблемой окраин, я говорю: вы правы, да, безработица, да, скопление асоциальных элементов, да, этнические группировки, да, территориальная зависимость, да, неблагополучные семьи, да, теневая экономика и незаконный бизнес, да, да, да... Но не будем недооценивать единственного фактора, на который мы можем повлиять лично и который уходит корнями во тьму педагогических веков: стыд ученика, который не понимает того, что все вокруг понимают, и его одиночество в этом мире понимающих.

Только мы — неважно, учили нас этому или нет, — можем освободить его из этой тюрьмы.

Те учителя, что спасли лично меня — и сделали из меня учителя, — этому не учились. Их не интересовали истоки моей школьной непригодности. Они не стали тратить время ни на выяснение ее причин, ни, тем более, на чтение нотаций. Эти взрослые уже сталкивались с такими гибнущими мальчишками. И они сказали: пора действовать. Они нырнули за мной на дно. И упустили. Тогда они стали нырять еще и еще, день за днем... И в конце концов они вытащили меня. И еще много других, таких же как я. Они нас буквально выудили. Мы обязаны им жизнью.

12

Я роюсь в ворохе старых бумаг в поисках своих школьных табелей и дипломов и натыкаюсь на письмо, сохраненное мамой. На нем дата — февраль 1959 года.

Мне было четырнадцать лет — исполнилось за три месяца до этого. Я был в четвертом классе. И писал ей из своего первого интерната.

Дорогая мамочка!

Я тоже видел свои отметки, мне страшно противно, и с миня [sic!] хватит. Я два часа сидел над этим заданием по алгебре и думал, что там все в порядке, и вот получил кол, и решил, что всё, я больше ни магу [sic!]. И я все бросил, чтобы все повторить к экзаменам, отсюда и четверка за поведение, вернее, за подготовку к экзамену по геологии на уроке математики [sic!].

[И т. д.]

Я ни магу [sic!] учиться дальше. У меня не хватает ума и силы воли. Мне не интересно [sic!], у меня голова тресчит [sic!] от сидения над этими бумашками [sic!], я ничего не понимаю в английском, в алгебре и пешу с ошипками [sic!]. Ну что мне делать?

Мари-Те, парикмахерша из нашей деревни Ла-Коль-сюр-Лу, моя старшая подруга с раннего детства, недавно рассказала, как мама, сидя под феном, делилась с ней тревогой относительно моего будущего, которую несколько смягчало лишь обещание моих братьев

позаботиться обо мне, когда их с папой не станет.

В том же письме я писал: «У вас есть три умных и прилежных сына и один двоечник, бесдельник [sic!]». Далее следовал сравнительный анализ достижений братьев и моих собственных, а также страстная мольба о прекращении мучений. Я умолял, чтобы меня забрали из школы и отправили в «колонии» (вот она, семья военных), куда-нибудь «в глупь [sic!] Африки», потому что «только там я буду шасливым» [sic!] (дважды подчеркнуто). В сущности, добровольное изгнание на край света, последнее средство, последняя мечта, бегство в духе Бардаму¹¹, замышляемое сыном солдата.

Десять лет спустя, 30 сентября 1969 года, я получил письмо от отца, написанное мне на адрес коллежа, где я вот уже месяц работал учителем. Это было мое первое рабочее место и первое письмо, написанное состоявшемуся сыну. Отец только что вышел из больницы и рассказывал мне о прелестях выздоровления, о тихих прогулках с нашей собакой, сообщал семейные новости, объявлял о возможном замужестве моей двоюродной сестры из Стокгольма, намекал слегка на мой будущий роман, о котором мы с ним беседовали когда-то (и который я так до сих пор и не написал), интересовался, о чем я разговариваю за столом с коллегами, ждал прихода по почте «Губернаторской логи» Анджело Ринальди¹², чертыхаясь в адрес почтовиков, затеявших забастовку, расхваливал «Над пропастью во ржи» Сэлинджера и афоризмы Жозе Кабаниса¹³, извинялся за то, что мама мне не пишет («она устала больше меня, ухаживая за мной»), упоминал, что одолжил запаску от нашей малолитражки моей подружке Фаншон («Бернар с удовольствием заменил ей колесо»), и целовал напоследок, уверяя, что он в отличной форме.

И как в школьные годы он никогда не рисовал мне картин моего жалкого будущего, так и сейчас в его письме не было ни малейшего намека на мое позорное прошлое. Высказываясь в большинстве случаев со своей обычной целомудренной иронией, он, казалось, не видел в моем новом положении учителя ничего заслуживающего удивления, поздравлений или беспокойства относительно моих учеников.

Короче говоря, папа есть папа — мудрый и ироничный, всегда готовый поболтать со мной, на расстоянии, о продолжающейся жизни.

Вот передо мной конверт того письма.

Только сегодня меня поразила одна деталь.

Надписывая адрес, он не удовольствовался названием города, улицы, коллежа, моей фамилией...

Рядом с ней он приписал слово «преподаватель».

Даниэлю Пеннаккьони, преподавателю

Преподавателю...

Четким почерком.

Мне понадобилась целая жизнь, чтобы расслышать этот вопль радости — и вздох облегчения.

II. СТАНОВЛЕНИЕ

Мне уже двенадцать с половиной

¹¹ *Фердинан Бардаму* — герой романа французского писателя Луи-Фердинана Селина (1894–1961) «Путешествие на край ночи» (1932). Студент-медик, побывавший на Первой мировой войне; после долгих злоключений он бежал в Африку в надежде встать на ноги в одной из французских колоний.

¹² Речь идет о первом романе (1969) известного французского писателя и литературного критика корсиканского происхождения Анджело Ринальди (р. 1940).

¹³ *Кабанис, Жозе* (1922–2000) — французский писатель и общественный деятель, автор знаменитых афоризмов.

1

В тот самый момент, когда я пишу эти строки, мы входим в период криков о помощи. Начиная с марта телефон в доме напоминает о себе чаще обычного: звонят обезумевшие друзья в поисках новой школы для своего пропавшего ребенка; звонят отчаявшиеся родственники, перебирающие одно заведение за другим после очередного исключения; звонят соседи, оспаривающие эффективность оставления на второй год; звонят совершенно незнакомые люди, которые тем не менее знают меня и получили мой телефон у Такого-то...

Обычно звонки раздаются по вечерам, к концу ужина — в час отчаяния. Чаще всего телефон обрывают матери. Отцы — редко, отцы появляются позже, самый первый телефонный звонок всегда от матери, и почти всегда речь идет о сыне. Дочки, как правило, послушнее.

Итак, мать. Сидит одна, поужинав наспех, не вымыв посуду, положив перед собой табель с отметками своего сыночка, который заперся на два оборота у себя в комнате с видеоигрой или уже умотал на улицу шляться с приятелями, невзирая на робкий мамин запрет... Она одна, сидит, взявшись за телефонную трубку, не решаясь позвонить... В энный раз рассказывать о том, что происходит с сыном, излагать всю историю его провалов, боже, как она устала... А дальше будет еще хуже: снова искать школу, которая его примет... брать отгул в конторе, в магазине... ходить по начальству... прорываться сквозь заслон секретарш... заполнять бумаги... ждать ответа... собеседования... с сыном, без сына... тесты... ожидание результатов... документы... сомнения... какая школа лучше — эта или та? (Потому что вопрос преимущества той или иной школы — это первый и последний вопрос: лучшая школа для лучших учеников и лучшая для потерпевших крушение, в этом всё...) Наконец она звонит. Она извиняется за беспокойство, она знает, что к вам все обращаются с просьбами, но она действительно просто не знает, что делать с сыном...

Учителя, братья мои, умоляю, подумайте о своих коллегах, когда в тиши учительской вы пишете на табеле: «Решение будет принято по результатам третьего триместра». А у меня телефон звонит не переставая.

— Третий триместр, слышал? Да у них уже все решено с самого начала!

— Третий триместр, третий триместр, да этого разгильдяя ничем не пронять. Спросите, был ли у него хоть один нормальный триместр!

— Третий триместр... Скажите на милость, а как он за такое короткое время успеет все нагнать? Они же прекрасно знают, что этот их третий триместр со всеми каникулами — чепуха на постном масле...

— Если они его опять не переведут, я обращусь куда следует!

— В любом случае, надо подыскать другую школу — и как можно раньше...

И так до конца июня, когда оказывается, что третий триместр и правда был решающим, что отпрыск не попадет в следующий класс и что искать новую школу уже поздно, потому что все уже давно об этом позаботились до вас, но знаете ли, так хотелось верить до конца, мы подумали, что, возможно, на этот раз мальчик все поймет, он так хорошо начал третий триместр, да-да, уверяю вас, он старался, прогуливал гораздо меньше, чем раньше...

2

Мать бывает отчаявшаяся, измотанная шатаниями своего дитяти, возвращающаяся в мыслях к предполагаемым последствиям семейных неурядиц: это все из-за нашего развода... после смерти его отца он так и не... Мать бывает униженная постоянными поучениями и советами тех подруг, у которых дети в порядке, или тех, которые с оскорбительной скрытностью уходят от разговора на неприятную тему... Мать бывает бешеная, убежденная

в том, что ее отпрыск — невинная жертва преподавательского заговора, независимо от предмета, это давно началось, еще в детском саду, там была такая воспитательница... и потом в начальной школе то же самое, учитель-мужчина, это еще хуже, и представьте себе, в четвертом классе преподаватель французского ему... Бывают и такие, которые не обвиняют никого конкретно, а набрасываются сразу на общество, которое разлагается на глазах, на гибнущее образование, на прогнившую систему, короче говоря, на реальную действительность, которая никак не хочет соответствовать их мечтам... Мать бывает озлобленная на своего собственного сыночка: у него есть всё, а он ничего не делает, он ничего не делает, а хочет, чтобы у него всё было, мы для него столько делаем, а он даже не... никогда, ни разу в жизни, понимаете?! Есть матери, которые за целый год не находят времени, чтобы встретиться хотя бы с одним учителем, и такие, которые осаждают их всех сразу... Есть матери, которые звонят вам, просто чтобы вы избавили их и на этот год от сыночка, о котором они не желают слышать до будущего года, день в день, час в час они так и говорят: «Посмотрим, что будет на будущий год, надо будет, конечно, подыскать ему школу». Есть матери, которые боятся реакции отца: «Всё! Мой муж этого не переживет» (большую часть отметок от данного отца скрывали)... Бывает мать, которая не понимает этого ребенка, совсем не такого, как другой, которая старается любить его не меньше, изо всех сил стремится быть одинаково хорошей матерью для обоих. Есть мать, которая, наоборот, выбирает именно этого («Все же я вкладываю в него столько души»), естественно, в ущерб его братьям и сестрам, и которая использовала уже все возможные ресурсы, да все зря: спорт, психолог, логопед, аутогенная тренировка, витаминизация, релаксация, гомеопатия, семейный врач, личный врач... Есть мать, погрязшая в психологии, которая все умеет объяснить и поражена тем, что никто не может найти нужного решения, она одна в целом свете понимает своего сына, дочку, друзей сына, дочки и с позиций своей вечной молодости («Надо уметь оставаться всегда молодой, не правда ли?») удивляется, насколько постарел этот мир и как он неспособен понимать молодежь. Есть мать, которая тихо плачет, извиняется за свои слезы... смесь горя, тревоги и стыда. По правде говоря, всем им немного стыдно, и все они встревожены за будущее своего мальчика: «Что же с ним станет?» Большая часть из них представляет себе это будущее как некую проекцию настоящего на назойливый экран грядущего. Грядущее как стена, на которую проецируются непомерно разросшиеся образы безнадежного настоящего — вот он, великий страх всех матерей!

3

Они не знают, что обращаются к самому юному из взломщиков своего поколения и что, если бы их представления о будущем были обоснованы, я не сидел бы сейчас у телефона, а считал бы вшей в тюрьме в полном соответствии с фильмом, который моя бедная матушка должна была спроецировать на экран грядущего, узнав, что ее одиннадцатилетний сыночек запустил лапу в семейные сбережения.

Я пытаюсь развеселить их анекдотом.

— Знаете единственный способ рассмешить Господа Бога?

Замешательство на другом конце провода.

— Рассказать ему о своих планах.

Иначе говоря, не надо сходить с ума, ничего нельзя предусмотреть заранее, это единственная вещь, которой нас учит будущее, превращаясь в прошлое.

Конечно, этого мало, это всего лишь лейкопластырь, наклеенный на рану, которая так быстро не зарубцется, но у меня нет иных средств, кроме телефона.

4

Справедливости ради скажу, что мне звонят и по поводу хороших учеников: вот предусмотрительная мать ищет лучший подготовительный класс, точно так же, как когда-то,

сразу после рождения своего ребенка, она подыскивала ему лучший детский сад, не сомневаясь в моей компетентности по этой части, что весьма любезно с ее стороны; или вот другая мать, прибывшая из иного мира, первый опыт иммиграции, привратница в доме, где я живу, обнаружившая в своей дочери странные способности, впрочем, она права, малышке надо учиться по полной схеме, долго, тут нет никакого сомнения, это явно растет будущий преподаватель, она даже сможет выбирать между разными предметами... (Она на самом деле заканчивает сейчас учебу на факультете права.) А есть еще и Л. М., сельский житель из Веркора, которого вызвала на беседу учительница местной школы, чтобы поведать о сногшибательных результатах его сына...

— Она спрашивает, чем бы я хотел, чтобы он занимался дальше.

Он поднимает стакан за мое здоровье.

— Смешные вы все-таки, учителя, с вопросами вашими...

— Ну и что же ты ей ответил?

— А что ты хочешь, чтоб я ответил? Я ж отец. По максимуму! Чтоб стал президентом республики!

Но есть и абсолютно противоположный случай: тоже отец, уборщик, который непременно хочет сократить срок обучения своего сына и устроить его на работу, «чтобы парень начал сразу зарабатывать». («Еще одна зарплата семье не повредит!») Да, но вот только сам мальчик хочет стать педагогом, учителем начальных классов, как это называлось когда-то, и я считаю, что это неплохая мысль, мне больше понравилось бы, если бы он стал трудиться в народном образовании, этот живой мальчуган, в котором столько желания работать, так давайте поговорим еще, обсудим все как следует, ведь речь идет о счастье будущих учеников моего будущего коллеги...

Вот так вот и я начинаю верить в будущее, упоая на государственную школу. Ведь именно она, государственная школа, выучила моего отца, и сегодня, девяносто лет спустя, этот мальчуган так походит на того маленького корсиканца из Орильяка, каким отец был году в 1913-м, когда его старший брат пошел работать, чтобы дать своему младшему братишке средства и возможность поступить в Политехнический институт.

И вообще, я всегда поощрял своих друзей и самых прилежных учеников в том, чтобы они становились учителями. Я всегда считал, что школа — это прежде всего учителя. Кто спас меня самого от школы, как не три-четыре учителя?

5

Другой отец раздраженно заявляет мне категоричным тоном:

— Моему сыну не хватает зрелости.

Молодой мужчина, зажатый перпендикулярами строгого костюма. Восседавая с негнущейся спиной на стуле, он с места в карьер заявляет, что его сыну не хватает зрелости. Это констатация факта. Не требующая ни вопросов, ни комментариев. Только решения. Точка. Я все же интересуюсь возрастом вышеупомянутого сына.

Ответ следует незамедлительно:

— Уже одиннадцать лет.

Что-то я сегодня не в форме. Видимо, плохо спал. Сжав руками голову, я в конце концов заявляю категоричным тоном Распутина:

— Есть выход.

Поднимается бровь. Удовлетворенный взгляд. Приятно иметь дело с профессионалом. Ну и что же за выход?

Вот он:

— Подождать.

Он недоволен. Что это за разговор? Так дальше не пойдет.

— Не может же он все время играть!

На следующий день я встречаю этого самого папашу на улице. Тот же костюм, та же

несгибаемость, тот же «дипломат» в руке.

Но он едет на самокате.

Ей-богу, не вру.

6

Дети без будущего. Дети, из которых ничего никогда не выйдет.

Безнадежные.

В начальной школе, в коллеже, потом в лицее я считал, что железно буду таким же — человеком без будущего.

Это первое, в чем плохой ученик позволяет себя убедить.

— На что ты надеешься с такими-то отметками?

— Ты думаешь, что сможешь перейти в шестой (пятый, четвертый, третий, второй, первый...) ¹⁴?

— Как вы думаете, сколько у вас шансов сдать выпускной экзамен? Доставьте-ка мне удовольствие, подсчитайте сами свои шансы, в процентах. Ну, сколько?

Или еще этот радостный крик директрисы коллежа:

— Аттестат? Вам?! Да бог с вами, Пеннаккьони, никогда вы его не получите! Слышите? Никогда!

Она вся трепетала от радости.

В любом случае, я никогда не стану таким как ты, старая дура! Никогда не буду учителяшкой — этим пауком, прилипшим к собственной паутине, надсмотрщиком, до конца своих дней привинченным к столу! Никогда! Мы, ученики, приходим и уходим, а вы остаетесь! Мы-то свободны, а вы вот тут навсегда застряли! Мы, двоечники, может, и не придем никуда, но мы туда пойдем! И этот класс не станет нашей вечной тюрьмой!

Платя презрением за презрение, я цеплялся за эту жалкую мысль: мы приходим и уходим, а учителя остаются; об этом часто говорят потихоньку в классе. Двоечники, они ведь что — они питаются словами.

Тогда я еще не знал, что учителям тоже случается испытывать это ощущение «пожизненности», пережевывая одно и то же перед сменяющимися друг друга классами, изнемогая под тяжестью ежедневных тетрадок (тут и Сизифу не поздоровилось бы, получи он такую кипу работ на проверку!), не знал, что однообразие — это первая причина, по которой учителя решаются уйти из профессии, не мог себе представить, что некоторые из них и правда по-настоящему страдают от того, что вынуждены сидеть на месте, в то время как их ученики приходят и уходят... Не знал я и того, что препода так же бывают озабочены собственным будущим: пройти конкурс на место в престижном лицее, написать диссер, поступить на работу в универ, заняться наукой, съездить за границу, погрузиться в творчество, сменить вид деятельности, отделаться наконец от этих вялых прыщавых мстительных юнцов, которые только и знают, что переводить тонны бумаги, я не знал, что, когда учитель не думает о собственном будущем, то он думает о будущем своих детей, о поступлении отпрысков в высшие учебные заведения... Не знал я, что головы учителей просто лопаются от мыслей о будущем. Мне-то казалось, что они думают только об одном: как бы зарубить моё.

Человек без будущего.

Слыша это по сто раз на дню, я выработал довольно четкое представление об этой жизни без будущего. Не то чтобы там время остановилось или будущее не существовало вовсе, нет, просто в этом будущем я был таким же, как в настоящем. Конечно, не совсем

¹⁴ Во французской школе классы считаются в обратном порядке по сравнению с русской: так, обучение в средней школе (после пяти лет начальной) начинается с шестого и заканчивается выпускным классом, следующим непосредственно за первым, после чего учащиеся сдают выпускной экзамен (baccalauréat), дающий им возможность поступать в высшие учебные заведения.

таким же — то есть не таким, каким я стал бы, если бы время перестало течь, а таким, как если бы прожитые годы ничего во мне не изменили, как если бы мое будущее ничем не отличалось от настоящего. А собственно, из чего состояло это мое настоящее? Из ощущения собственного ничтожества, проистекавшего из всего моего прошлого. Я был полной бездарью и *никогда не был ничем иным*. Конечно, время будет идти, я буду расти, будут в моей жизни какие-то события, будет сама жизнь, но я буду проходить сквозь все это, не достигая никаких результатов — *ничего*. Я был в этом более чем уверен, потому что я — это я.

Некоторых детей очень легко убедить в этом, и если рядом не оказывается никого способного их разубедить, в них, за неимением лучшего, очень скоро развивается любовь к неудаче, поскольку жить вообще без любви невозможно.

7

Будущее, странная угроза...

Зимний вечер. Натали, всхлипывая, сбегает вниз по лестнице коллежа. У нее горе, которое хочет быть услышанным. И которое использует бетонные стены в качестве резонатора. Она совсем еще ребенок, и тело ее на звонких ступенях лестницы весит ровно столько, сколько положено весить ребенку. Половина шестого, почти все уже разошлись по домам. Я — один из последних оставшихся тут учителей. Тамтам шагов по ступеням, взрыв рыданий: ого, думает учитель, опять школьные страдания, ну, все не так страшно, конечно же, невелико горе. И тут внизу лестницы появляется Натали. Ну же, Натали, что у тебя за горе? Я знаю эту девочку, в прошлом году я преподавал у них в шестом классе. Робкая, неуверенная в себе, ее часто приходилось подбадривать. Так что же случилось, Натали? Сначала сопротивление: ничего, мсье. Ну, если и правда ничего, зачем же так шуметь, дорогая? Вновь раздаются рыдания — с удвоенной силой, — и Натали в промежутках между всхлипами рассказывает наконец о постигшем ее несчастье:

— У... у... у меня... нннне пппполучается... Я нннне пппппонимааааю...

— Чего не понимаешь? Что у тебя не получается?

— Сло... ело...

И вдруг пробка выскакивает, и она выдает на одном дыхании:

— Сложноподчиненное предложение с придаточным уступительным!

Тихо.

Только не рассмеяться.

Смеяться никак нельзя.

— Сложноподчиненное предложение с придаточным уступительным? Это из-за него ты пришла в такое состояние?

Облегчение. Учитель начинает быстро и крайне серьезно думать над вышеупомянутым предложением; как объяснить этой девочке, что тут вовсе не из-за чего так страдать, что она, сама того не замечая, употребляет это чертово придаточное (самое мое любимое, кстати, если только можно вообще любить одно придаточное больше другого), придаточное, позволяющее вести споры, — первое условие утонченности ума, правда, тут стоит еще вспомнить об искренности и о злом умысле, но все равно, без уступки не бывает терпимости, малышка, в этом все дело, надо лишь перечислить союзы, которыми оно присоединяется, это придаточное предложение: *хотя, несмотря на то что, пускай, пусть, даром что*, чувствуешь, как эти слова так и уводят нас в сторону утонченности, туда, где и овцы будут целы, и волки сыты, это придаточное сделает тебя вдумчивой и осмотрительной, готовой выслушать собеседника, а не отвечать с бухты-барахты, ты станешь женщиной мудрой, может быть даже философом, вот что сделает с тобой это сложноподчиненное предложение с придаточным уступительным!

Ну вот, завелся. Учитель есть учитель. Разве можно утешить девочку уроком грамматики? Посмотрим... У тебя всего пять минут, Натали, иди сюда, я тебе объясню. В

классе пусто, садись, слушай как следует, тут нет ничего сложного. Ну как? Поняла? Ну-ка придумай пример, чтобы мне стало ясно. Пример правильный.

Она поняла. Ладно. Ну что, так лучше? Ничего подобного, совсем не лучше. Новый приступ рыданий, слезы с горох, и вдруг эта фраза, которую я никогда не забуду:

— Вы не понимаете, мсье, мне уже двенадцать с половиной лет, а я еще ничего не сделала.

— ...

Вернувшись домой, я снова прокручиваю в голове эту фразу. Что она хотела сказать, эта девчонка? «Ничего не сделала...» Во всяком случае, ничего плохого, простодушная Натали.

Мне придется дожидаться следующего вечера, чтобы, наведя справки, узнать, что отец Натали только что был уволен с работы после десяти лет службы верой и правдой в какой-то государственной конторе. Он оказался одним из первых госслужащих, попавших под сокращение штатов. На дворе середина восьмидесятых, до сих пор безработица была частью рабочей культуры, если можно так выразиться. И вот этот человек — молодой, никогда не сомневавшийся в своей общественной роли, примерный работник и заботливый отец (я не раз видел его в прошлом году в школе, его волновала робость дочери, ее неуверенность в себе) — сломался. Он подвел окончательный итог своей жизни. Дома, за столом он твердит одно и то же: «Мне уже тридцать пять лет, а я еще ничего не сделал».

8

Отец Натали открыл эпоху, когда само будущее казалось лишенным будущего; десятилетие, в течение которого школьники только и слышали со всех сторон: кончились золотые денечки, ребятки! И с любовью тоже — кранты! Безработица и СПИД — вот что вас всех ожидает. Да, именно это мы им и вдалбливали, и учителя, и родители, в течение последующих лет, и все только для того, чтобы «мотивировать» их побольше. Беспросветные разговоры. Вот отчего плакала бедная Натали; она заранее страдала, оплакивая свое безвременное погибшее будущее. А еще она чувствовала себя виноватой в том, что своими проблемами с грамматикой медленно, день за днем сама его убивает. Впрочем, правда и то, что ее учитель не нашел ничего лучшего, как постоянно твердить ей, что у нее «сплошная каша в голове». Каша, говоришь? Дай-ка я послушаю... С внимательным видом врача я деловито потряс ее головку... Нет, ничего там не булькает... Робко-робко, но она все же заулыбалась. Погоди-ка... Согнув палец, я постучал ей по лбу, как стучат в закрытую дверь... Нет, можешь быть уверена, там отличные мозги — я же слышу, — даже выдающиеся мозги, Натали, такой красивый звук издают только головы, в которых полно умных мыслей! Ну вот, наконец-то захихикала.

Сколько печали поселили мы в их душах за эти годы! И насколько мне милее смех Марселя Эме¹⁵, беззлобный хитрый смех Марселя, когда он превозносит мудрость своего сына, раньше всех почуявшего безработицу.

— А ты, Эмиль, будешь похитрее своего братца. И то сказать, ты старше, а значит, лучше знаешь жизнь. Во всяком случае, за тебя-то я не беспокоюсь, ты смог устоять перед искушением, а поскольку ты за всю жизнь палец о палец не ударил, ты прекрасно подготовился к тому, что тебя ждет. Для безработного что всего труднее? То, что он с детства не привык к такой жизни. Это сильнее его, у него руки чешутся — подавай ему работу. А за тебя я спокоен, у тебя руки чесаться не будут, во всяком случае, не от этого.

— Но я же читать умею, — возмутился Эмиль, — даже почти быстро.

— А это еще раз подтверждает твою хитрость. Нисколько не перетрудившись и не

¹⁵ Эме, Марсель (1902–1967) — популярный французский писатель, драматург, автор сказок, новелл, романов, чьи произведения не раз были экранизированы.

нажив дурной привычки к труду, ты все же сможешь читать в газете отчеты о Тур де Франс и прочих спортивных соревнованиях, которые там печатают для развлечения безработных. Нет, ты просто счастливчик...

9

Прошло больше двадцати лет. Сегодня безработица принадлежит всем культурам, профессиональное будущее улыбается далеко не каждому в наших широтах, любовь утратила свой блеск, а Натали, должно быть, превратилась во взрослую женщину лет тридцати семи (с половиной). Мать, поди. Может быть, двенадцатилетней девочки. Интересно, Натали — безработная или она удовлетворена своим общественным положением? Страдает от одиночества или счастлива в любви? Разумная женщина, мастер уступок? Изливает свое отчаяние за семейным столом или мужественно думает в первую очередь о том, в каком настроении ее дочка переступит порог класса?

10

Наши «плохие ученики» (ученики, у которых якобы нет будущего) никогда не приходят в школу одни. В класс входит не ученик, а какая-то луковица: несколько слоев мучений, страхов, тревог, злобы, обиды, неутоленных желаний, яростных отречений, и все это держится на основе из постыдного прошлого, угрожающего настоящего и безнадёжного будущего. Посмотрите, вот они идут — неокрепшее тело, а за плечами тяжкий семейный груз. Урок может начаться, лишь когда эта тяжесть будет сброшена на пол, а луковица — очищена. Это трудно объяснить, но иногда достаточно одного взгляда, одного доброго слова, слова взрослого человека — доверительного, понятного, разумного, — чтобы рассеять эти страхи, облегчить эти души и вернуть их в строго изъяснительное настоящее время.

Естественно, это благодеяние будет иметь лишь временное действие, за порогом школы луковица снова станет сама собой, и завтра придется все начинать сначала. Но это и есть преподавание: повторять каждый раз снова и снова, пока не отпадет сама потребность в преподавателе. И если нам не удастся на нашем уроке определить им место в настоящем изъяснительного наклонения, если мы не сумеем привить мальчикам и девочкам — привить в ботаническом смысле слова — наше умение жить в этом времени, они так и будут всю жизнь трястись на ухабах постоянной неудовлетворенности собой. Конечно, мы будем не единственными, кто оставил рытвины на их пути и не сумел их вовремя заделать, но всё же эти будущие мужчины и женщины проведут здесь, лицом к лицу с нами год, а может, даже и несколько лет своей юности. А это совсем не шутки — загубленный школьный год, это целая вечность в стеклянной банке.

11

Надо было бы придумать особое время для обучения. Например, настоящее время «воплотительного наклонения». Вот я здесь, в классе, и вот я наконец понимаю! Есть! Мой мозг передает идею всему телу — она воплощается.

Когда же все не так, когда я ничего не могу понять, я расслаиваюсь на глазах, распадаюсь в этом времени, которое никак не проходит, обращаюсь в прах, малейшее дуновение рассеивает меня без остатка.

Вот только для того, чтобы их знание получило шанс воплотиться в настоящем времени на уроке, надо перестать попрекать их прошлым и пугать будущим.

12

А кстати, что же все-таки выходит из тех, из кого «что-то вышло»?

Ф. умер через несколько месяцев после ухода на пенсию. Ж. выбросился из окна накануне такого же события. Г. впал в депрессию. Еще один только-только от нее избавляется. Врач Ж.-Ф. считает, что болезнь Альцгеймера началась у него как раз в первый его пенсионный год. То же говорят и про П.-Б. Бедняга Л. выплакала все глаза, после того как ее уволили из информационного отдела, где она, видимо, собиралась пожизненно заниматься самыми злободневными проблемами. А еще я все время вспоминаю сапожника из П., который умер от того, что так и не смог найти себе преемника. «Что же, моя жизнь ничего не стоит?» — твердил он. Никто не пожелал выкупить смысл его жизни. «Все впустую?» И он умер от горя.

А вот дипломат; он уже полгода как на пенсии и больше всего боится оставаться наедине с самим собой. Ищет, чем бы заняться. Советник индустриальной группы по международным вопросам? Консультант в области того-то или сего-то? А вот этот и вообще был премьер-министром. Он мечтал об этом тридцать лет, с самого первого своего успеха на выборах. Жена его всячески в этом поддерживала. Это политический наемник, он всегда знал, что почетная должность в таком-то правительстве временна по определению. И опасна. Он знал, что при первом удобном случае станет посмешищем для прессы, отличной мишенью, в том числе и для своих, главным козлом отпущения. Знал он, конечно, и шутку, которую Клемансо¹⁶ отпустил в 1917 году в адрес главы своего кабинета: «Когда я пукаю, он воняет». (Да, политикам свойственно такое изящество выражений. И чем скрупулезнее им приходится взвешивать каждое слово, выступая на публике, тем крепче выражаются они среди «своих».) Итак, он становится премьер-министром. Он подписывает рискованный договор с ограниченным сроком действия. Это закаляет и его, и его жену. Конечно же, премьер-министр, в течение нескольких лет. Несколько лет проходят. Как и ожидалось, он вылетает. Теряет должность. Близкие отмечают, что он сильно переживает по этому поводу: «Он боится за свое будущее». Да так, что последовавшая за этим депрессия чуть не доводит его до самоубийства.

Вот оно, пагубное влияние той социальной роли, ради которой нас учили и воспитывали, которую мы играли «всю жизнь», а на самом деле — половину отпущенного нам на жизнь времени. Отнимите у нас эту роль, и мы уже даже не актеры.

Эти драматические развязки чреваты смятением, сравнимым, на мой взгляд, с муками подростка, который, считая, что у него нет никакого будущего, испытывает боль от самой необходимости жить. Становясь самими собой, мы часто становимся ничем. До такой степени, что иногда нам случается убивать себя. И это выдает, по меньшей мере, пробел в нашем воспитании.

13

Пришел год, когда я стал особо недоволен собой. Мне было очень плохо от того, что я такой, какой я есть. И я совсем не хотел становиться чем-то. Окно моей комнаты выходило на утесы Ля-Год и Сен-Жанне, отвесные скалы наших Южных Альп, которые, как говорят, не раз прекращали муки отвергнутых влюбленных. Однажды утром, когда я присматривался к этим камням с несколько преувеличенным вниманием, в дверь моей комнаты постучали. То был отец. Приоткрыв дверь, он просунул голову в комнату: «Да, Даниэль, совсем забыл тебе сказать: самоубийство — неблагоприятный шаг».

14

Однако вернемся к началу. Потрясенная совершенным мной хищением семейных

¹⁶ Клемансо, Жорж (1841–1929) — французский политический и государственный деятель, премьер-министр Франции в 1906–1909 и 1917–1920 гг.

средств, мама отправилась за советом к директору моего коллежа, добродушному и проницательному господину, украшенному большим симпатичным носом (в школе его прозвали Чижом). Посчитав, что я скорее жалок и напуган, чем опасен, Чиж прописал мне уединение и свежий воздух. Пребывание в горах пойдет мне на пользу. Горный интернат — да, это выход, я наберусь там сил и приобрету навыки жизни в коллективе. Не беспокойтесь, сударыня, ваш сын не Арсен Люпен¹⁷, а всего лишь маленький фантазер, и мы просто обязаны вернуть ему чувство реальности. За этим последовали два года в интернате, пятый и четвертый класс, в течение которых я виделся с семьей лишь на Рождество, Пасху и в летние каникулы. Потом я буду учиться в обычных интернатах, где учеников отпускают домой на выходные.

Вопрос, был ли я «счастлив» в этом интернате, довольно вторичен. Скажем так: жизнь для меня была там гораздо более сносна, чем существование в обычной школе.

Современные родители воспринимают интернат как какую-то каторгу, а потому им трудно объяснить его преимущества. Для них отправить ребенка в интернат — все равно что от него отказаться. Стоит лишь заикнуться о том, что их дитяти неплохо бы провести годик в интернате, как тебя сразу начинают считать чудовищем и ретроградом, готовым засадить всех двоечников в тюрьму. Тут уже бесполезно объяснять, что я сам пережил это, — сразу приводится аргумент из другой эпохи: «Да, конечно, но в те времена с детьми вообще жестоко обращались!»

Сегодня, с изобретением родительской любви, любой разговор об интернате под запретом, им только пугают, а это значит, что его не рассматривают как выход из положения.

И все же...

Нет, я не собираюсь тут расхваливать интернаты.

Нет.

Попробуем просто описать обычный кошмар ученика обычной школы, завалившего учебу.

15

Какого именно ученика? Ну, например, одного из тех, о ком ведут со мной беседы телефонные мамы, кого они ни за что в жизни не отправили бы в интернат. Возьмем лучший вариант: хороший мальчик, любимец семьи; он никому не желает зла, но поскольку вообще ничего больше не понимает, то лишь носит домой полные отчаяния замечания вконец обессилевших учителей: «Не работает», «Ничего не сделал, ничего не сдал», «В свободном падении» или еще короче: «Что сказать?» (когда я пишу эти строки, этот автограф и еще несколько других лежат передо мной).

Давайте проследим за нашим бедолагой в течение одного учебного дня. Как ни странно, сегодня он не опоздал — слишком настойчиво в последнее время призывали его к порядку записи учителей в дневнике, — но ранец его почти пуст: он снова забыл дома учебники, тетради, прочие материалы. (Учитель музыки оставит в его полугодовом табеле миленькую запись: «Забывал флейту».)

Домашние задания, конечно же, не сделаны. А ведь первый урок — математика, и упражнения по математике — среди несделанных. Тут может быть одно из трех: он не сделал упражнения, потому что либо был занят чем-то другим (шлялся с приятелями, рубился на компе, закрывшись у себя в комнате), либо, в прострации рухнув на кровать, провалялся в полном забвении чувств под завывания музыки, бушевавшей у него в голове, либо — и это наиболее оптимистичное из предположений — он все же час или два отважно пытался сделать упражнения, но у него ничего не вышло.

В любом из трех случаев вместо тетрадки с выполненным заданием наш ученик обязан

¹⁷ Арсен Люпен — персонаж романов Мориса Леблана, обаятельный авантюрист и благородный грабитель.

представить учителю уважительную причину, по которой он задания не выполнил. Самое трудное в этой ситуации дать простое и правдивое объяснение: «Мсье, я не сделал упражнения, потому что большую часть ночи провел в киберпространстве, сражаясь с воинами Зла, правда, мне удалось уничтожить их всех до единого, можете мне поверить» или «Мсье, мне очень жаль, но я не сделал упражнения, потому что вчера на меня напал ступор, я пальцем не мог пошевелить, хватило только сил надеть наушники и врубить плеер».

После признания «Я не сделал домашнее задание» самое сложное — сказать правду, которая немедленно повлечет за собой штрафные санкции. А потому наш ученик предпочтет ей версию, более презентабельную с официальной точки зрения. Например: «Мои родители в разводе, я живу с мамой, а вчера забыл свое домашнее задание у папы». Иначе говоря, ложь. Учитель, со своей стороны, тоже часто предпочитает такое «подогнанное» объяснение слишком откровенному признанию, которое могло бы поставить под удар его, учителя, авторитет. Избежав лобового столкновения, оба — и ученик, и учитель — извлекают из этого дипломатического па-де-де свою выгоду. Что же касается отметки, тариф известен: несданная работа — «нуль».

Ситуация с учеником, который попытался — честно, но без толку — сделать уроки, мало чем отличается от предыдущей. Он также является в класс носителем малоприемлемой правды: «Мсье, я вчера потратил два часа, чтобы *не сделать* ваше задание. Нет, я не занимался ничем другим, я достал тетрадь, прочитал условия задачи и два часа находился потом в состоянии полного математического бессилия, умственного паралича, из которого вышел, лишь когда услышал, что мама зовет меня ужинать. Вот видите, я хоть и не сделал ваше задание, но потратил на него целых два часа. А после ужина было уже поздно: меня ожидал еще один приступ каталепсии — задание по английскому». На что учитель может (вполне справедливо) возразить: «Если бы вы слушали как следует на уроке, вы бы прекрасно поняли условия задачи».

Чтобы избежать этого публичного унижения, наш ученик также предпочтет более дипломатичную трактовку событий: «Я как раз начал читать условия задачи, а тут паровой котел взорвался».

И так далее, с утра до вечера, от урока к уроку, от учителя к учителю, изо дня в день, — непрерывная экспонента вранья, которая приводит в конце концов к знаменитому восклицанию героя Франсуа Трюффо: «Мама!.. Моя мамочка!.. Она умерла!..»

Проврав весь день в учебном заведении, наш плохой ученик возвращается домой, где первым вопросом, который он услышит, будет обязательно:

— Ну как? Хорошо день прошел?

— Очень хорошо.

Снова ложь.

Которая требует материального подкрепления:

— Историчка спросила меня, что было в тысяча пятьсот пятнадцатом году, я ответил: «Битва при Мариньяно»¹⁸, она была очень довольна!

(Так, хорошо, можно продержаться до завтра.)

Но завтра наступает очень быстро, дни повторяются, и наш ученик продолжает метаться между школой и домом, тратя всю свою умственную энергию на плетение тончайшей сети квазисоответствий между школьным враньем и домашней полуправдой, между объяснениями, которые он давал одним, и оправданиями, которые представлял другим, между карикатурами на учителей, которые он рисует родителям, и намеками на семейные неурядицы, которые он сообщает на ушко учителям, капля правды тут, капля правды там, обязательно, иначе нельзя, потому что они — родители и учителя — могут в какой-то момент встретиться, этого никак не избежать, а значит, надо это учитывать,

¹⁸ В сентябре 1515 года близ Мариньяно, крепости Миланского герцогства, произошла битва между войсками французского короля Франциска I и швейцарскими наемниками миланского герцога Максимилиана Сфорца, в которой победили французы.

помнить об этом, полируя до блеска правдоподобные выдумки, которыми придется кормить их во время встречи.

Энергия, мобилизованная такой умственной деятельностью, несоизмерима с энергетическими затратами хорошего ученика на приготовление домашнего задания. Наш плохой ученик кладет на это последние силы. Хочет он того или нет (а иногда он хочет именно этого), но на нормальную работу у него просто не остается сил. Вранье, в котором он погряз, делает его пленником какого-то мучительного третьего измерения — где-то между школой, с которой он сражается, и семьей, которую он старается успокоить, там, где воображению отводится жалкая роль по затыканию бесчисленных дыр, через которые в любую минуту может пролезть действительность, причем в самых устрашающих обликах: в виде раскрытой лжи, гнева одних, огорчения других, обвинений, наказаний, может, даже исключения из школы, возврата к самому себе, бессильного чувства своей вины, унижения, мрачного смакования мысли, что вот, они, конечно, правы, я полное ничтожество, нуль без палочки, пустое место.

Я — пустое место.

Да, в том обществе, в котором мы живем, подросток, утвердившийся в сознании собственной никчемности, — легкая добыча. Вот, по крайней мере, единственная вещь, которую мы усваиваем благодаря жизненному опыту.

16

Причин, по которым учителям и родителям случается закрывать глаза на ложь и даже пособничать в ней, слишком много, чтобы говорить о них здесь. Сколько вранья я слышу каждый день в четырех-пяти классах по тридцать пять человек в каждом? — совершенно резонно может спросить себя учитель. Где найти время на разбирательства? И вообще, разве я следователь? И должен ли я заменять семью в плане нравственного воспитания? Если да, то в каких пределах? И так далее — бесконечная череда вопросов, каждый из которых становится однажды предметом страстного обсуждения среди коллег.

Но есть и другая причина, по которой учитель игнорирует вранье, причина, запятанная глубоко-глубоко в подсознании; если вытащить ее на поверхность, она прозвучит примерно так: этот мальчик — воплощение моей профессиональной неудачи. Мне не заставить его ни идти вперед, ни заниматься как следует, разве только приходить на занятия, к тому же я могу быть уверен лишь в его физическом присутствии.

К счастью, едва проявившись, это обвинение опровергается множеством вполне приемлемых аргументов. С этим я потерпел неудачу, но со многими другими все в порядке. В общем-то, это не моя вина — мальчик-то учится в четвертом классе. Чему его научили мои предшественники? И разве только школа виновата? А родители? Они-то о чем думают? Можно ли рассчитывать, что я, с таким количеством учеников в классе и плотным расписанием, сумею помочь ему нагнать упущенное?

Все эти вопросы, затрагивающие прошлое ученика, его семью, коллег-учителей, саму школу, приводят в конце концов к формулировке, которая чаще всего встречается в школьных табелях: «Отсутствие элементарных знаний» (я как-то обнаружил ее даже в табеле ученика подготовительного класса начальной школы!). Короче говоря, пусть у других голова болит.

Голова, конечно, в первую очередь болит у родителей — это им приходится хуже всех. Ежедневное вранье сыночка приводит их в изнеможение: недомолвки, умалчивание, неумные фантазии, ненужные подробности, оправдания: «Нет, на самом деле было вот так...»

Устав от бесконечной войны, большинство родителей в конце концов предпочитают принять изнуряющую ложь, прежде всего, чтобы заглушить собственное беспокойство (в таких случаях капля правды — «битва при Мариньяно 1515 года» — выступает в роли таблетки аспирина), затем — чтобы сохранить нормальную семейную обстановку, чтобы

ужин опять не обернулся драмой, только не сегодня, пожалуйста, чтобы оттянуть эту пытку — чистосердечные признания, — душераздирающую для всех участников, короче, чтобы как можно дольше не наступал момент, когда, получив четвертной табель, более-менее ловко подгримированный главным заинтересованным лицом, которое присматривает за почтовым ящиком, придется наконец определить размеры этой школьной катастрофы.

Завтра, завтра посмотрим...

17

Одна из самых примечательных историй такого пособничества завравшемуся отпрыску со стороны взрослых случилась с братом моего друга Б. Ему тогда было лет двенадцать-тринадцать. Страшно боясь контрольной по математике, он попросил приятеля указать ему точное расположение аппендикса. После чего свалился, изображая кошмарный приступ аппендицита. В школе сделали вид, что поверили ему, отпустили домой — только чтобы от него отделаться. Родители, и не такое повидавшие за свою жизнь, отвезли его все-таки в ближайшую больницу, не питая при этом особых иллюзий, а там — ко всеобщему удивлению — его сразу отправляют в операционную! После операции появляется хирург с банкой в руках, где плавает нечто кровавое, и с самым невинным видом заявляет: «Хорошо, что мы успели его прооперировать, он был на грани перитонита!»

Ибо на совместной лжи строятся целые общества.

Или вот такая история, более недавняя: Н., директриса одного парижского лицея, строго следит за посещаемостью. Она даже устраивает переключку в выпускных классах, где сама преподает. Особенно внимательно она следит за одним рецидивистом, которому за последний прогул пригрозила исключением. В то утро он опять не явился — это уже слишком. Н. прямо из секретарской звонит родителям. Расстроенная мама сообщает, что ее сын заболел, лежит в постели, весь пылает от жара и что она как раз собиралась позвонить в лицей, чтобы предупредить. Н. вешает трубку с чувством глубокого удовлетворения — всё в порядке. За исключением одного: выходя из кабинета, она сталкивается лицом к лицу с тем самым мальчишкой. Во время переключки он просто был в туалете.

18

Интернат обладает несомненным преимуществом перед обычной школой, поскольку, ограничивая метания нашего ученика между школой и домом, помещает его в две разные временные реальности: школа — с утра понедельника до вечера пятницы и семья — во время уик-энда. Одни собеседники в рабочие дни и совсем другие — в выходные (вновь обретающие шанс стать праздничными). С одной стороны, школьная реальность, с другой — домашняя. Можно ложиться спать, не усыпляя родительской бдительности дежурным враньем, просыпаться, не испытывая необходимости оправдываться до посинения за неделанное домашнее задание, потому что оно было-таки сделано вчера вечером, в лучшем случае — с помощью воспитателя или учителя. Короче говоря, сплошной умственный отдых, масса сохраненной энергии, которая, вполне возможно, будет даже потрачена на учебу. Достаточно ли этого, чтобы двоечник вдруг выбился в классную элиту? По крайней мере, это даст ему возможность жить в настоящем времени как таковом. Ведь что ни говори, а личность строится на осознании своего настоящего, а не стремлении сбежать из него.

На этом я прекращаю восхваления интернатской жизни.

Нет, все-таки добавлю еще пару слов. Поскольку я сам преподавал там, скажу, что лучшие интернаты — это те, где учителя тоже живут на пансионе. И доступны в любое время суток — на случай крайней необходимости.

19

Следует отметить, что за последние двадцать лет, в течение которых интернаты так критиковались в прессе, в кино и литературе, наибольший успех пришелся на долю трех произведений: «Общество мертвых поэтов», «Гарри Поттер» и «Хористы», в которых события развиваются именно в интернате. Три интерната, к тому же довольно старого уклада: форменная одежда, ритуалы и телесные наказания у англосаксов, замшелые учителя и оплеухи — в «Хористах».

Стоило бы проанализировать тот восторг, с которым молодежь приняла в 1989 году фильм «Общество мертвых поэтов», почти единодушно разгромленный критиками и учителями: демагогия, попустительство, архаичность, нелепость, сентиментальность, кинематографическое и интеллектуальное убожество — этим аргументам трудно противопоставить что-либо разумное... Разве что те толпы школьников, которые устремились в кино и вернулись оттуда сияющими от счастья. Предположить, что их очаровали одни лишь его недостатки, означало бы признать дрянным и ничтожным целое поколение. От моих учеников, например, не ускользнули ни анахронизмы учителя Китинга, ни его недобросовестность: «Он не совсем честно ведет себя, мсье, со своим „*Carpe diem*“¹⁹, этот Китинг, он говорит так, будто мы все еще в шестнадцатом веке, а ведь в шестнадцатом веке люди умирали гораздо раньше, чем сегодня!» — «И потом, это мерзко — когда он в самом начале заставляет порвать учебник, а при этом считается, что он такой весь открытый... Почему бы тогда не начать жечь книги, которые ему не нравятся? Я бы не согласился».

А в остальном мои ученики просто «обалдели» от этого фильма. Все без исключения представляли себя на месте юных американцев конца пятидесятых, которые с социальной и культурной точки зрения на самом деле так же далеки от них, как какие-нибудь марсиане. Все были без ума от Робина Уильямса (которого взрослые дружно обвинили в том, что он переигрывает).

Учитель Китинг в его исполнении был в их глазах воплощением человечности и любви к своему делу: увлечение предметом, абсолютная преданность ученикам — и все это в сочетании с энергией командного тренера. Закрытость интерната только добавляла динамизма его урокам, проходившим в атмосфере драматичной близости, что возводило наших юных зрителей в ранг полноправных студентов. Уроки Китинга мнилились им неким ритуалом перехода в новое качество, касавшимся только их, их одних. Семьи это не касалось никоим образом. И учителей тоже. О чем без обвиняков заявил мне один мой ученик: «Ладно, учителям не нравится. Но это же наш фильм, а не ваш!»

Именно так думало, должно быть, большинство вышеупомянутых учителей лет за двадцать до того, когда, будучи сами школьниками, они ликовали по поводу присуждения на Каннском фестивале 1969 года Пальмовой ветви (так называемой колючки) другой истории про интернат, в которой лучшие ученики самого что ни на есть английского колледжа брали школу штурмом и, рассевшись на крышах, стреляли оттуда по родителям, епископу и преподавателям, собравшимся для присуждения премий. Взрослые зрители, как полагается, негодовали, студенты же и школьники были, естественно, в полном восторге: это наш фильм, а не их!

Конечно же, времена изменились.

Я тогда подумал, что сравнительный анализ фильмов о школе многое мог бы сказать об обществе их создавшем. От «Нуля за поведение» (1932) Жана Виго до знаменитого «Общества мертвых поэтов», между которыми располагаются «Беглецы из Сент-Ажиля» (1939) Кристиан-Жака, «Клетка для соловьев» (1944, предтеча «Хористов») Жана Древиля, «Школьные джунгли» (США, 1955) Ричарда Брукса, «Четыреста ударов» (1959) Франсуа Трюффо, «Первый учитель» (СССР, 1965) Михалкова-Кончаловского, «Учитель» (1972)

¹⁹ *Carpe diem* (quam minimum credula postero) — латинское выражение, отрывок из Горация, которое переводится обычно как „Пользуйся сегодняшним днем и не задумывайся о завтрашнем“.

Цурлини, к которым добавим вышедшие после 1990 года «Человека с портфелем» (1991) Даниэле Лукетти, «Черную доску» (2000) иранской кинематографистки Самиры Махмалбаф, «Увертку» (2002) Абделлатифа Кешиша и еще несколько десятков фильмов.

Задуманный мной проект сравнительного анализа так и остался на стадии замысла; пусть этим займется кто пожелает, если это уже не сделано. В любом случае, налицо прекрасный повод оглянуться назад. Перечисленные фильмы, большая часть которых имела огромный успех у публики, позволяют сделать немало интересных выводов, в частности вот такой: начиная с Рабле каждое поколение Гаргантюа испытывает юношеский страх перед Олофернами и одновременно огромную необходимость в Понократах²⁰, иначе говоря, бесконечно повторяющееся стремление к самоутверждению посредством сопротивления духу времени и места, а также желание развиваться «под сенью» — а если вернее, то «в лучах»! — учителя, считающегося образцовым.

20

Однако вернемся к вопросу становления. Февраль 1959-го — сентябрь 1969-го. Десять лет прошло между моим отчаянным посланием маме и письмом, которое отец отправил своему сыну-преподавателю.

Десять лет, за которые из меня что-то вышло.

За счет чего происходит это превращение из двоечника в преподавателя?

И — в качестве бесплатного приложения — из малограмотного в писателя?

Естественно, этот вопрос первым приходит в голову.

Каким образом я стал тем, что я есть?

Велико искушение не отвечать на него вовсе. Основываясь, например, на том, что созревание — как апельсинов, так и личностей — не поддается описанию. В какой момент подросток — самый неуправляемый из всех — приземляется-таки на почву общественной реальности? Когда он решает хотя бы сыграть в эту игру? И в решении ли только дело? Какое участие принимают в этом эволюция органов, внутриклеточные химические процессы, формирование сети нейронов? Все эти вопросы позволяют уйти от главного.

«Если все, что вы наговорили тут о вашей неуспеваемости, правда, — могли бы мне возразить некоторые, — то это превращение просто тайна, покрытая мраком!»

И правда, совершенно невероятный случай. Впрочем, таков удел двоечника: ему никогда не верят. Сначала его упрекают в том, что за своими жалобами и стенаниями он прячет элементарную лень: «Прекрати пороть чепуху! Иди и займись делом!» Когда же он достигает определенного социального статуса, свидетельствующего о том, что он таки сумел выбраться из ямы, его начинают подозревать в желании набить себе цену: «Вы бывший двоечник? Не может быть, вы просто хвастаетесь!» Все дело в том, что носить дурацкий колпак апостериори очень даже приятно. В обществе такое украшение надевают с особым удовольствием. Оно отличает вас от тех, чьей единственной заслугой было следование проторенными путями. Бомонд буквально кишит бывшими героическими двоечниками. В модных салонах или по радио то и дело слышишь, как они выдают свои бывшие школьные невзгоды за какие-то подвиги неповиновения. Лично я верю таким рассказам, лишь когда в них ощущается призыв боли. Потому что, если неуспеваемость может быть излечима, то раны, нанесенные ею, никогда не затягиваются окончательно. Такое детство не может быть счастливым, и вспоминать о нем тем более не весело. Нечем тут хвастаться. Это все равно как если бы излечившийся астматик начал похваться, что тысячу раз был на пороге смерти от удушья! Так что выплывший двоечник ни в коем случае не желает, чтобы его жалели, нет,

²⁰ В романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532) Франсуа Рабле (1493–1553), великого сатирика-гуманиста эпохи Возрождения, первыми учителями юного Гаргантюа становятся «великий богослов» магистр Тубал Олоферн, воплощение средневековой косности и скудоумия, и мудрый Понократ, приверженный идеалам античности.

он хочет забыть, забыть всё напрочь — не думать больше об этом позоре. И потом, в глубине души он прекрасно понимает, что мог бы и не выплыть. Ведь, в конце концов, окончательно погибших двоечников — большинство. Я всегда считал, что уцелел просто чудом.

Так что же произошло со мной за эти десять лет?

Как мне удалось выплыть?

Прежде всего, уточним: взрослые и дети, как известно, по-разному воспринимают время. Десять лет в глазах взрослого, исчисляющего свое существование десятилетиями, — ничто. Десять лет — как быстро они пролетают, когда тебе уже полтинник! Это ощущение скоротечности, кстати, обостряет беспокойство матери за будущность сына. Ему через пять лет получать аттестат зрелости, уже, это так скоро! Как сможет мальчик измениться за такой короткий срок? А для мальчика каждый год из этих пяти стоит тысячелетия; для него все будущее укладывается в ближайшие несколько дней. Заводить с ним разговоры о грядущем — все равно что заставлять его мерить бесконечность дециметрами. И глагол «становиться» парализует его именно потому, что в глаголе этом слышится родительское беспокойство и неодобрение. Будущее — самое худшее, что может со мной случиться. Так переводил я для себя слова учителей, когда они утверждали, что из меня ничего не выйдет. Слушая их, я не имел ни малейшего представления о времени, я просто верил им на слово: я навсегда останусь кретином, из меня никогда не получится ничего путного. «Навсегда» и «никогда» — вот единицы, которыми двоечнику предлагает измерять время его уязвленное самолюбие.

Время... Я не знал, что мне понадобится постареть, чтобы научиться воспринимать его течение логарифмически. (Впрочем, логарифмы с их таблицами, функциями, шкалами и изящными кривыми были для меня всегда темным лесом...) Однако, став учителем, я инстинктивно понял, насколько бесполезно потрясать дубинкой будущего перед носом у худших из моих учеников. Всему свое время, и каждый час сегодняшнего дня имеет свою цену, надо только присутствовать в нем, вместе со всеми.

А вот я в детстве в нем отсутствовал. Стоило мне войти в класс, как я оказывался вне времени. Мне представлялось, что вертикально направленный взгляд учителя, подобно лучу, испускаемому летающей тарелкой, вырывает меня с моего места за партой и переносит куда-то. Куда? Да в его голову! В учительскую голову! Это была лаборатория летающей тарелки. Луч переносил меня туда. Там быстренько измеряли степень моей никчемности и глупости, потом посредством другого взгляда меня, словно отработанный материал, вышвыривали обратно, и я скатывался в некий отстойник, не понимая уже ни что мне преподают, ни чего, собственно, от меня ожидают, раз я признан ни на что не годным. Зато такой приговор оправдывал мое ничегонеделанье. Действительно, на кой надрываться, если на самом высоком уровне решено, что ты человек конченный? Как можно видеть, я уже тогда проявлял некоторые способности к казуистике. А сделавшись учителем, стал отмечать подобный склад ума у своих двоечников.

А затем появился он, мой первый спаситель.

Учитель французского.

В третьем классе.

Который разглядел во мне того, кем я был на самом деле, — бесхитростного весельчака-фантазера с суицидальными наклонностями.

Потрясенный, вне всякого сомнения, моей способностью изобретать всё более и более хитроумные оправдания для невыученных уроков и несделанных домашних заданий, он решил освободить меня от написания школьных сочинений, заказав сразу целый роман. Роман, который я должен был сотворить за четверть из расчета по главе в неделю. Сюжет — любой, одна просьба: сдавать готовые части без орфографических ошибок, «чтобы повысить уровень критических замечаний». (Я до сих пор помню эту формулировку, хотя от самого романа в памяти не осталось ничего.) Этот учитель был совсем старик и отдавал нам последние годы своей жизни. Должно быть, в том самом что ни на есть частном заведении на северной окраине Парижа он прирабатывал себе к пенсии. Пожилой, старомодно благовоспитанный господин, он разглядел во мне *рассказчика*. Он понял, что при всей моей

безграмотности вывезти меня может только повествование, это единственный шанс хоть как-то сохранить меня для школьных занятий. Я писал роман с огромным воодушевлением. Я тщательно проверял каждое слово по словарю (с которым с тех пор не расстаюсь) и выдавал свои главы с пунктуальностью профессионала. Думаю, это был очень грустный роман, поскольку я тогда находился под сильным влиянием Томаса Харди, в произведениях которого недоразумения сменяются катастрофами, а катастрофы — непоправимыми трагедиями, что полностью соответствовало моему фатализму: с самого начала ничего не поделаешь — таково было мое мнение.

Не думаю, что в тот год в учебе у меня наблюдались какие-то существенные сдвиги, но впервые за всю мою школьную жизнь учитель признал за мной некий статус; в чьих-то глазах я существовал как ученик, как индивидуум со своей линией жизни, которой он должен следовать, со своим будущим. Естественно, я испытывал безумную благодарность к моему благодетелю, и, хотя старичок держался несколько отстраненно, он стал-таки для меня поверенным тайн, посвященным в круг моего запретного чтения.

«Ну так что же мы читаем в настоящий момент, Пеннаккьони?»

Ибо я читал.

Тогда я еще не догадывался, что это меня и спасет.

В ту пору чтение романов не было, как сегодня, бессмысленным подвигом. Оно считалось пустой тратой времени, вредной для школьных занятий, а потому запрещенной в учебные часы. Отсюда моя тяга к подпольному чтению: я оборачивал романы как школьные учебники, прятал их где только можно, читал по ночам с карманным фонариком, отпрашивался с физкультуры — все шло в ход, лишь бы оказаться один на один с книгой. К этому меня приучил интернат. Мне был нужен мой собственный мир — им стал мир книг. В семье я больше наблюдал, как читают другие: папа — в кресле, под лампой, закинув ногу на ногу, с раскрытым на коленях томиком, попыхивая трубкой и рассеянно поглаживая безымянным пальцем безупречный пробор; Бернар — в нашей с ним комнате, лежа на боку с согнутыми в коленях ногами, подперев правой рукой голову... В этих позах было столько комфорта... В сущности, именно физиология чтения и подтолкнула меня к нему. Может, я и читать-то начал только для того, чтобы попробовать эти позы, а потом и другие. Начав читать, я физически испытал атмосферу счастья, в которой пребываю и поныне. Что я читал? Сказки Андерсена — по причине самоотождествления с Гадким Утенком, а также Александра Дюма — ради всех этих шпаг, лошадей и влюбленных сердец. И еще Сельму Лагерлёф — великолепного «Иёсту Бёрлинга», этого потрясающего, сосланного епископом в глушь пастора-пьяницу, в похождениях которого я неустанно принимал участие вместе с другими жителями усадьбы Экебю. «Войну и мир», подаренную мне Бернаром по случаю перехода в четвертый класс; историю любви Наташи и князя Андрея — при первом знакомстве (что сводило роман к какой-то сотне страниц), наполеоновскую эпопею — при втором, в третьем классе: Аустерлиц, Бородино, пожар Москвы, отступление из России (я нарисовал даже гигантское полотно битвы при Аустерлице, на котором человечки моей тайнописи крушили друг друга), еще двести-триста страниц. Следующий раз я перечитал «Войну и мир» во втором классе из-за Пьера Безухова (еще один Гадкий Утенок, который, однако, понимал гораздо больше, чем можно было подумать) и, наконец, снова, уже полностью, — в выпускном, ради России, Кутузова, Клаузевица, аграрной реформы, ради Толстого. Были еще, конечно, Диккенс — Оливер Твист так нуждался во мне, — Эмили Бронте, чей дух взывал о помощи, Стивенсон, Джек Лондон, Оскар Уайльд и первые встречи с Достоевским, — разумеется, «Игрок» (непонятно почему, но все начинают читать Достоевского с «Игрока»). Так вот я и читал — то, что находил в семейной библиотеке. Ну и, само собой, были «Тентен», и «Спиру», и «Следопыты», и гремевший в то время «Боб Моран»²¹.

²¹ Речь идет о популярных в 1950-е годы комиксах.

Первым достоинством романов, которые я таскал с собой в колледж, было то, что они не входили в программу. Никто меня по ним не спрашивал. Ничей взгляд не читал эти строчки через мое плечо; их авторы и я оставались всегда с глазу на глаз. Глотая эти книги, я не подозревал, что развиваюсь, что они будят во мне страсть, которая переживет память о некоторых из них. Закончилось же это юношеское чтение четырьмя дверьми в мир, четырьмя совершенно разными книгами, которые тем не менее, по причинам, так мной и не разгаданным, соединились внутри меня тесными родственными узами: «Опасные связи»²², «Наоборот»²³, «Мифологии» Ролана Барта²⁴ и «Вещи» Перека²⁵.

Я не был утонченным читателем. Не в обиду Флоберу будь сказано, я читал как пятнадцатилетняя Эмма Бовари — единственно ради удовлетворения собственных чувств, которые, к счастью, оказались ненасытными. Я не извлекал из чтения никакой непосредственной школьной выгоды. Тысячи проглоченных — и очень быстро забытых — страниц не улучшили моей орфографии, в которой я до сих пор не всегда уверен (отсюда и постоянное присутствие словарей в моей жизни). Нет, если что и победило на время мои ошибки (и эта временная победа указывала на возможность окончательного триумфа), так это роман, заказанный мне тем самым учителем, что отказывался опускаться до замечаний орфографического плана. Я должен был представить ему рукопись без ошибок. Гений педагогики, в общем-то. Может, только для меня и только в том единственном случае, но все равно — гений!

Еще три таких гения повстречались мне в промежутке между третьим классом и вторым годом в выпускном, еще три спасителя, о которых речь пойдет чуть дальше: учитель математики, который сам был математиком во плоти; сногшибательная историчка, как никто владевшая искусством исторического воплощения, и учитель философии, которого тем более удивляет мое сегодняшнее восхищение его персоной, что сам он не сохранил обо мне ни малейшего воспоминания (в чем и признался письменно), что только возвеличивает его в моих глазах, поскольку он пробудил мой дух исключительно благодаря своему искусству, а никак не личному ко мне отношению. Вот так, вчетвером, эти учителя спасли меня от меня самого. Может, они явились слишком поздно? Может, учи они меня изначально, в младших классах, я сразу последовал бы за ними? И тогда у меня сохранились бы более светлые воспоминания о детстве? Как бы то ни было, они стали для меня приятной неожиданностью. Оказались ли они для других учеников таким же открытием, как для меня? Это вопрос, ведь склад характера играет огромную роль в педагогике. Когда мне случается встретить бывшего ученика, который начинает вспоминать о счастливых часах, проведенных на моих уроках, я думаю, что в этот самый момент где-то по другому тротуару идет человек, для которого те же уроки были тоской смертной.

Другой причиной моего преображения была любовь, неожиданно поразившая меня посреди мнимой недостойности. Любовь! Совершенно невообразимая для того подростка, каким я себя считал. Тем не менее статистика утверждает, что такое возможно, даже неизбежно. (Нет, вы только подумайте: кто-то может меня полюбить... Меня! И кто!) Впервые любовь явилась мне в виде волнующей встречи на каникулах, выразилась главным образом в обильной переписке и завершилась расставанием по взаимному согласию по причине нашей юности и географической удаленности. На следующее лето, с сердцем

²² «Опасные связи» — знаменитый эротический роман в письмах (1782) Пьера-Амбруаза Шодерло де Лакло (1741–1803).

²³ «Наоборот» — роман (1884) французского писателя Жюль-са-Карла Гюисма (1848–1907).

²⁴ Барт, Ролан (1915–1980) — французский литературовед, постструктуралист и семиотик.

²⁵ Перека, Жорж (1936–1982) — французский писатель и кинорежиссер.

разбитым окончанием этой полуплатонической страсти, я нанялся юнгой на торговый корабль — одно из последних судов «Либерти», тогда еще курсировавших в Атлантике, и насмешил акул, выбросив в море пачку писем. Пришлось ждать еще два года, чтобы новая любовь стала первой — по значимости, которую в данной области придают словам поступки. Еще одна реинкарнация любви, перевернувшая всю мою жизнь и подписавшая смертный приговор моей хронической неуспеваемости. Меня любит женщина! Впервые в жизни возлюбленная называет меня по имени! Я жил, существовал на самом деле — в глазах женщины, в ее сердце, в ее руках и даже в ее воспоминаниях, об этом на следующий день мне поведал ее взгляд! Я избран среди всех других! Я! Она предпочла меня! Меня! Она! (Кроме всего прочего, она была студенткой подготовительных курсов Высшей педагогической школы, тогда как я только что остался на второй год в выпускном классе!) Последние плотины были взорваны: все прочитанные ночами книги, эти тысячи страниц, большей частью стершиеся из памяти, эти знания, накопленные втайне от других — и от меня самого, — погребенные под целыми пластами забвения, самоотрицания, самоуничтожения, эта словесная магла, бурлящая идеями, чувствами, разнообразными знаниями, вдруг прорвала корку позора и хлынула в мой мозг, немедленно уподобившийся небосводу, что украшен мириадами звезд! Одним словом, я балдел, как говорят сегодняшние счастливицы. Я любил и был любим! Каким образом такая страсть могла породить такое спокойствие и уверенность в себе? В меня поверили! И я тоже вдруг поверил в себя! В течение нескольких лет, что длилось это счастье, о дуракавалянии не было больше и речи. Наоборот, я двигался вперед семимильными шагами. После окончания школы я в мгновение ока защитил диплом по филологии, окончил магистратуру, написал первый роман, произвел на свет несколько тетрадей афоризмов, которые без всяких шуток назвал своими «Лакониками», и, кроме того, настрочил кучу сочинений, в том числе для подруг моей подруги, тоже студенток подготовительных курсов, которым то и дело требовались мои небывалые познания по тому или иному вопросу в области истории, литературы или философии. В этой скачке я даже позволил себе роскошь поступления на те же подготовительные курсы, которые бросил на полдороге ради того самого первого романа. Дать волю моему собственному перу, летать на собственных крыльях в собственном небе! Мне не надо было ничего другого. И еще чтобы моя подруга все так же любила меня.

Я от души посмеялся над папиной шуткой про революцию, которая понадобилась мне для защиты диплома, и про мировую войну, которая должна случиться, чтобы я защитил диссертацию. Да нет же, папа, возразил я ему, не революция — любовь, черт побери! Три года любви! Все это время мы совершали с ней свою революцию — в постели! Что же до диссертации — никаких диссертаций, я не играю в азартные игры! И профессура мне не нужна! И так столько времени потрачено зря. Хватит с меня магистратуры — прожиточного минимума школьного учителя. Простой учительшка, папа. В самой обычной школе, если надо. Преступник возвращается на место преступления. Буду заниматься ребятами, свалившимися в помойку Джибути. Заниматься ими, помня о том, каким был сам. Ну, и литература, конечно! Романы! Преподавание и романы! Читать, писать, учить!

Своим пробуждением я во многом обязан и упорству моего отца, как бы далекого, но на самом деле такого близкого. Мои неудачи никогда не приводили его в уныние, он всегда умел противостоять моим попыткам к бегству, достаточно вспомнить, например, мою страстную мольбу в четырнадцать лет отдать меня в скауты. Мы весело посмеялись над этим двадцать лет спустя, когда, вернувшись с военных сборов, я показал ему запись в своем военном билете: «Очередное звание: солдат второго класса». «Значит, очередное — второй класс? Я так и думал: полная неспособность подчиняться и полное нежелание командовать».

Был еще и старый друг, Жан Ролен — преподаватель философии, отец Никола, Жанны и Жан-Поля, приятелей моей юности. Каждый раз, как я заваливал выпускные экзамены, он приглашал меня в отличный ресторан, чтобы снова и снова убеждать, что у каждого свой жизненный ритм и что я просто немного задержался в развитии. Жан, дорогой мой Жан, пусть эти страницы — хоть и с опозданием — повеселят тебя там, в твоём философском раю.

Короче, мы становимся кем-то или чем-то. Но мы не больно-то меняемся. Что было, то и есть.

И вот к концу этой второй части я позволю себе впасть в сомнение. Сомнение в необходимости этой книги, сомнение в том, способен ли я написать ее, проще говоря, сомнение в себе самом, сомнение, которое вот-вот выльется в иронические рассуждения о моей работе вообще, о жизни... Сомнение, разрастающееся, как злокачественная опухоль... Такое со мной случается часто. И хотя эти приступы ведут начало от тех времен, когда я был двоечником, мне никак не привыкнуть к ним. Сомневаешься всегда впервые, а мои сомнения носят разрушительный характер. Они снова подталкивают меня к родной наклонной плоскости. Я сопротивляюсь, но все же изо дня в день снова и снова становлюсь тем двоечником, о котором пытаюсь писать. Симптомы в точности соответствуют тем, что наблюдались в тринадцать лет: мечтательность, несобранность, рассеянное внимание, ипохондрия, нервозность, мрачное смакование собственных неудач, скачки настроения, жалобы и, наконец, зависание перед экраном компьютера, как когда-то перед заданным на дом упражнением или контрольной работой... «Я тут, я никуда не делся», — хихикает двоечник, которым я был когда-то.

Я поднимаю глаза. Мой взгляд блуждает по Южному Веркору. На горизонте — ни домов, ни дорог, ничего и никого. Каменистые пустоши, окаймленные низкими горами, на которых то тут, то там распускаются безмолвными султанами купы буков. И надо всей этой пустотой угрожающе нависает огромное небо. Господи, как же я люблю этот вид! В сущности, это и есть та ссылка, о которой я умолял родителей в детстве... Этот горизонт, в рамках которого никто ни перед кем ни в чем не должен отчитываться. (Разве что этот кролик перед этим сарычом, явно имеющим на него виды.) В пустыне искушает не дьявол, нет — сама пустыня искушает возможностью уйти от всего на свете.

Так, ладно.

Кончай придуриваться!

За работу.

За работу так за работу. Строчка за строчкой, продолжаем становиться чем-то или кем-то — вместе с этой книгой, которую пишем.

Из нас что-то выходит.

Из одних раньше, из других позже.

Редко это случается именно так, как мы думали, но ясно одно: мы становимся чем-то или кем-то.

На прошлой неделе выхожу я из кино, и вдруг на улице меня догоняет запыхавшаяся девочка лет девяти-десяти.

— Мсье, мсье!

Что такое? Я что, забыл зонтик в кино? Улыбаясь во весь рот, девочка показывает пальцем на какого-то типа, который взирает на нас с другой стороны улицы.

— Это мой дедушка, мсье!

Дедушка несколько смущенно приветствует меня.

— Он стесняется с вами поздороваться, а вы ведь были его учителем.

— ...

Черт возьми! Дедушка!.. Я был учителем ее дедушки!

Да, вот так — что-то из нас выходит.

В четвертом классе вы расстаетесь с девочкой, полной тупицей, наиполнейшей, по ее же собственному мнению («Ну я была и тупая!»), а двадцать лет спустя на улице Аяччо вас

окликает, сияя от радости, молодая женщина, сидящая на террасе кафе:

— Мсье, «не касайтесь плеча проходящего кавалера»!

Вы останавливаетесь, оборачиваетесь, женщина улыбается вам, вы читаете ей продолжение «Аллеи», стихотворения Сюпервьеля²⁶, которое, похоже, известно вам обоим:

Потому что вернется он
И устроит вам ночь
Без звезд и капли облаков.

Она хохочет, спрашивает:

А что тогда станет
Со всем небесным
Шествием луны
И жаром солнца?

И вы отвечаете девочке, выглянувшей вдруг из-за женской улыбки, упрямой девочке, которую вы когда-то заставили выучить это стихотворение:

Подождут, пока другой рыцарь, также всемогущий,
Согласится здесь пройти!²⁷

Болтаю с друзьями в кафе, в Париже. Мужчина за соседним столиком присматривается к нам и вдруг показывает на меня пальцем. Я смотрю на него и, подняв брови, взглядом спрашиваю, что ему надо. И тут он обращается ко мне по имени, но имя не мое:

— Дон Сегундо Сомбра!

И заставляет меня тем самым совершить головокружительный прыжок в прошлое.

— Ты учился у меня в восемьдесят втором! В пятом классе!

— Точно, мсье! В том году вы как раз читали нам «Дона Сегундо Сомбру», роман аргентинца Рикардо Гуиральдеса²⁸.

Я не помню фамилий этих случайно повстречавшихся мне учеников, да и их самих тоже, но с первых строчек стихотворения, с первого заглавия названных книг, с первого упоминания о каком-то конкретном уроке в них проявляется что-то от того мальчишки, который не хотел читать, или от той девчонки, которая утверждала, что ничего не понимает, и тогда я вспоминаю их так же отчетливо, как помню стихи Сюпервьеля или имя Сегундо Сомбра, которые, поди узнай почему, оказались неподвластны разрушительному действию времени. Они остаются одновременно и напуганной девчушкой, и этой женщиной, яркой представительницей своего поколения, и упертым пареньком, и военным летчиком, который почитывает себе, пролетая на автопилоте над океанами.

При каждой встрече ты убеждаешься, что вот, расцвела еще одна жизнь, такая же непредсказуемая, как форма облака.

Только не воображайте, будто вы, став учителем, так уж повлияли на эти судьбы! Я

²⁶ Сюпервьель, Жюль (1884–1960) — французский писатель и поэт. Автор сборников патриотической лирики «Стихотворения о несчастной Франции» (1941–1942), «1939–1945. Стихотворения» (1946); поэтического сборника «Рождения» (1951) и др., а также романов «Человек из пампасов» (1923), «Молодой человек в воскресенье...» (1955), рассказов и пьес.

²⁷ Перевод Максима Анкудинова.

²⁸ Гуиральдес, Рикардо (1886–1927) — аргентинский прозаик и поэт. Наиболее известный его роман, «Дон Сегундо Сомбра» (1926), переведен на русский язык в 1960 году.

смотрю на карманные часы, подаренные мне моей женой Минной к какому-то давно прошедшему дню рождения. Я с ними не расстанусь. Такие часы с откидывающейся крышкой называются «луковица». И вот я смотрю на свою «луковицу» и откатываюсь на пятнадцать лет назад, в лицей X, аудиторию Y, где наблюдаю, как шесть десятков учеников выпускного и первого класса пыhtят в полной тишине над своим будущим. Все прилежно строчат что-то, кроме Эмманюэля, третий или четвертый ряд справа от меня, у самого окна. Эмманюэль. Сидит перед девственно чистым листом бумаги, витает где-то. Наши взгляды встречаются. Мой крайне выразителен: «Ну что? Пусто? Может, пора уже начать?» Эмманюэль знаком просит меня подойти. Он учился у меня два года назад. Хитрый, живой, лентый, фантазер, весельчак и храбрец. И вот — девственно чистый, белый лист. Я подхожу только для того, чтобы вправить ему мозги, но он сразу же останавливает поток моих справедливых упреков, с тяжелым вздохом промолвив:

— Если бы вы только знали, мсье, как меня все это достало!

Ну что с таким делать? Убить на месте? Момент неподходящий, а потому я пока просто спрашиваю:

— А позволь узнать, чем же ты хотел бы заниматься?

— Этим, — отвечает он, возвращая мне «луковицу», которую только что незаметно у меня вытянул. — И вот этим, — добавляет он, отдавая мою авторучку.

— Ты хочешь стать карманником?

— Фокусником, мсье.

Фокусником он и стал, честное слово, причем знаменитым, и я тут вовсе ни при чем.

Да, иногда случается и так, что наши планы осуществляются, призвания реализуются, а будущее сдерживает свои обещания. Один друг приглашает меня в ресторан, утверждая, что приготовил мне сюрприз. Иду. Сюрприз неслабый. Это Реми, местный шеф-повар. Метр восемьдесят роста, белый поварской колпак — впечатляет! Сначала я его не узнаю, но он освежает мою память, выложив на стол сочинение, написанное им и исправленное мной двадцать пять лет тому назад.

Тринадцать баллов из двадцати возможных. Тема: «Каким я стану в 40 лет». Так вот, сорокалетний мужчина, что стоит сейчас передо мной, чуть робея в присутствии бывшего учителя, — это именно тот, кого описал в своем сочинении тогдашний мальчишка: шеф-повар в ресторане, кухню которого он сравнивал с машинным отделением трансатлантического лайнера. Проверяющий поставил оценку красным карандашом и выразил желание посидеть когда-нибудь за столиком в этом самом ресторане...

В таких ситуациях вы не жалеете, что были тем преподавателем, которым сейчас уже не являетесь.

Мы становимся, становимся кем-то — все, по мере наших возможностей, и, став кем-то, однажды встречаемся вновь. Например, Изабель, которую я встретил на прошлой неделе в театре, — удивительно похожая в свои почти сорок на ту шестнадцатилетнюю девчушку, что я учил во втором классе... Она оказалась моей ученицей после второго исключения из школы («Второе исключение за три года — это нечто!»). Теперь вот логопед с умной улыбкой.

Как и другие, она спрашивает меня:

— А вы помните Такого-то? А Такую-то? А еще Того?

Увы, о мои ученики, дырявая память вашего педагога по-прежнему отказывается запоминать имена собственные. Прописные буквы, с которых они начинаются, как и раньше, являют собой непреодолимые препятствия. За одни только летние каникулы я начисто забывал большую часть ваших фамилий, а тут годы! Чего вы хотите? Мои мозги подвергаются некоему постоянному промыванию, в результате чего кроме ваших фамилий

из них стираются фамилии писателей, которых я читаю, названия их книг и фильмов, которые я смотрю, города, где я бываю, маршруты, которыми хожу, вина, которые пью... Что вовсе не означает, что я предаю вас забвению! Дайте мне только снова посмотреть на вас минут пять, и доверчивая рожица Реми, веселый хохот Нади, хитрый взгляд Эмманюэля, добродушная задумчивость Кристиана, живость Акселя, неизменно хорошее настроение Артюра воскресят в этом мужчине, в этой женщине, узнавших во мне своего старого учителя, школьника или школьницу, которыми они были когда-то. Сегодня я могу признаться вам, что ваша память всегда была живее и надежнее моей, даже тогда, когда мы вместе заучивали наизусть наши еженедельные тексты, с тем чтобы в любой день и час года рассказать их друг другу. Худо-бедно три десятка разнообразных текстов, о которых Изабель гордо заявляет:

— Я ни одного не забыла, мсье.

— Думаю, у тебя были любимые?..

— Да, например, вот этот. Вы еще сказали тогда, что мы созреем для его понимания лет через шестьдесят.

И она начинает пересказывать мне вот этот текст, который идеально подходит для завершения главы о становлении:

Мой дедушка имел обыкновение говорить: «Жизнь удивительно коротка. В моих воспоминаниях она сбилась так плотно, что я с трудом понимаю, например, как молодой человек может решиться поехать на лошади в соседнюю деревню, не опасаясь, что — без всякого несчастного случая — на эту поездку ему не хватит целой жизни, самой обычной, без сучка, без задоринки».

С неким подобием реверанса Изабель сообщает имя автора — Франц Кафка. И уточняет:

— В переводе Виалатта, вашем любимом.

III. ЭТО, ИЛИ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ «ВОПЛОТИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ»

У меня это никогда не получится.

1

— У меня это никогда не получится, мсье. Не получится, и всё тут!

— Что?

— Не получится у меня!

— А что ты хочешь получить?

— Ничего! Ничего я не хочу!

— Тогда чего же ты боишься?

— Да я не то хочу сказать!

— Что же ты хочешь сказать?

— Что у меня не получится. Вот и всё!

— Напиши-ка нам это на доске: «У меня это никогда не получится».

У меня эта никогда не получится.

— Ты неправильно написал. Не «эта», а «это». Исправь! И «не получится» пишется не так. Отрицательная частица «не» отдельно. «Получится» — через «о».

У меня это никогда не получится.

- Ну, и что такое «это»?
- Не знаю.
- Что оно обозначает?
- Не знаю.
- Надо знать, ведь именно этого ты и боишься.
- Я не боюсь.
- Не боишься?
- Нет.
- Не боишься, что у тебя это не получится?
- Нет, мне по барабану.
- По чему?
- По барабану — наплевать то есть!
- На что тебе наплевать?
- На всё на это.
- И ты можешь написать это на доске?
- Да.
- Мне наэто на пливать.*
- «На это» пишется отдельно, а «наплевать» вместе. И через букву «е».
- Мне на это наплевать.*
- Ну, а тут что такое «это»?
- ...
- «Это» — какая часть речи?
- Да не знаю я... Это самое...
- Это самое — что?
- Это самое меня и достает!

2

В этом году с самого первого урока мы — я и мои ученики — навалились на все эти «это», «всё», «там», «туда». Именно с них мы начали осаду грамматических бастионов. Если мы хотим как следует укорениться в «индикативе» нашего предмета, мы обязательно должны разобраться с этими таинственными частями речи, что так сопротивляются нашему «воплощению». В первую очередь! Итак, мы открыли охоту на местоимения с неясным смыслом. Эти загадочные словечки похожи на нарывы, которые просто необходимо вскрыть.

Прежде всего «это». Мы начали со знаменитого «это», того самого, что ни у кого не получается. Оставим в покое его определение — «указательное местоимение среднего рода», — звучащее в ушах неподготовленного ученика какой-то абракадаброй. Распорем ему брюхо, вытащим оттуда все возможные значения, а затем зашьем снова, вставив обратно должным образом обследованные внутренности, и наклеим ярлычок. Грамматисты усматривают в нем некую неопределенность. Так давайте же определимся с ним все-таки!

Для того паренька, который так лихо швырялся на уроке крепкими словечками, демонстрируя свою силу, «это» было болезненным напоминанием об одной математической задаче, над которой он сломал голову. Задача спровоцировала приступ отчаяния: ручка полетела в одну сторону, тетрадь — в другую (все равно я *этого* никогда не пойму, наплевать мне на *это*, *это* меня достало и т. д.), парня выставили за дверь, и на следующем уроке, уроке французского языка, моем, он сталкивается с новой трудностью, теперь грамматической, которая напомнила ему о предыдущей, что вызвало новый приступ...

— Говорю вам, никогда это у меня не получится. Школа — это не для меня, мсье!

(Милый ты мой, а вот это уже проблема национального значения, которой скоро стукнет сто лет. Поди узнай, ты для школы или школа для тебя. Ты и представить себе не можешь, какие страсти кипят по этому поводу на образовательном Олимпе.)

— Скажи, мог ли ты подумать три года назад, что окажешься однажды в четвертом

классе?

— Нет, если честно. Меня вообще хотели оставить на второй год во втором.

— Ну, вот же. *Это* все-таки произошло, значит, у тебя *это* получилось.

(По старой памяти, так сказать, по дружбе, открою тебе, что все не так уж замечательно, вопрос решается, так или иначе, и решается на высоком уровне, но *это* все же произошло, *это* — реальный факт, мы все здесь, с тобой будем учиться целый год, работать над *этим*, решать разные задачи, начиная с самой насущной: побороть страх перед *этим* — тем, что не получается, побороть искушение на *это* наплевать и привычку валить всё *это* в одну кучу. В этом городе есть множество людей, которые боятся, что *это* у них не получится, и считают, что им на *это* наплевать... Но на самом деле *это* не так: они выпендриваются, шизуют, плывут по течению, орут, бьются головой о стенку, выламываются как только могут, но если есть в мире вещь, на которую им не наплевать, так это именно *это* — то, что достает их и отравляет им жизнь.)

— Ничего из *этого* не выйдет, говорю вам!

— Ладно, вот мы и посмотрим, что это за «это» и «ничего» такие. А заодно и с глаголом «выходить» разберемся, раз уж на то пошло. А то что-то он стал мне действовать на нервы, этот глагол!

Так вот, в этом году мы вспороли брюхо всем этим «это», «всё», «ничего». Каждый раз, когда они всплывали на уроке, мы отправлялись на поиски того, что скрывалось за тоскливыми словечками. Мы выпотрошили безразмерные мешки, выбросив из них все, что перегружает утлую лодчонку — двоичника на пороге гибели. Мы вытряхнули из них всё без остатка — так вычерпывают воду из тонущей лодки, — но, прежде чем отправить их содержимое за борт, мы пристально рассмотрели его.

«Это», во-первых, математическая задача, с которой все и началось.

«Это», во-вторых, упражнение по грамматике, подлившее масла в огонь («Грамматика утомляет меня почище математики, мсье!»).

И так далее: «это» — никак не дающийся английский, «это» — техномызыка, которая «утомляет» его, как и все остальное (лет через десять он сказал бы «не в кайф», а еще через десять — «в лом»), «это» — хоть какой-то результат, которого взрослые ожидали от него (совершенно напрасно) все время, короче говоря, «это» — все аспекты школьного обучения.

Отсюда еще одно «это» — то самое, на которое «мне наплевать» (для проверки преподавательских ушей на прочность добавим «начхать», «насрать», а еще лет двадцать — и к этому списку прибавится «положить», «забить»).

«Это» — ежедневное признание собственных неудач.

«Это» — мнение, которое составили о нем взрослые.

«Это» — унижение, которое он предпочитает преобразовать в ненависть к учителям и презрение к отличникам...

А отсюда уже отказ понимать «это», из которого «ничего» не выйдет, постоянное желание быть не здесь, а где-нибудь «там», заниматься не «этим», а совсем другим, — неважно где, неважно чем.

Тщательное препарирование этого «это» показало моим ребятам, какими они сами себя видят: нули без палочки, забредшие неизвестно как в какой-то абсурдный мир и предпочитающие на это плевать, поскольку никакого будущего здесь им не светит.

«И мечтать-то не о чем, мсье!»

No future.

«Это», или жизнь без будущего.

Только вот в чем дело: когда ты не видишь для себя впереди никакого будущего, то и в настоящем тебе никак не укорениться. И вот ты сидишь за партой, а сам находишься в совсем другом месте, там, где нет ничего, кроме сожалений, где время остановилось, где муки твои будут вечными, и за эти муки кто-то обязательно должен будет заплатить, и заплатить по полной.

И отсюда — моя твердая учительская убежденность: только грамматический анализ

способен возратить их сюда, сейчас, дать им возможность испытать совершенно особое наслаждение, поняв наконец, что же *это* такое — указательное местоимение, слово чрезвычайной важности, которое мы используем по тысяче раз на дню, даже не задумываясь об *этом*. Совершенно бесполезно распространяться перед обозленным мальчишкой на морально-этические и психологические темы. Сейчас не до споров — время не терпит.

Выпотрошив и почистив *это*, мы даем ему определение. Вообще, очень удобное местоимение, чтобы напустить туману в ходе щекотливого разговора. Мы сравнили *это* с глубоким языковым подвалом, с недостижимым чердаком, с чемоданом, который никому не удастся открыть, с пакетом, забытым в ячейке камеры хранения, ключ от которой потерян навсегда.

«Классно! За *этим* можно здорово спрятаться!»

Не так уж и классно — в данном случае. Тебе кажется, что ты спрятался, а *это* начинает потихоньку переваривать тебя самого. *Это* поглощает нас, и мы в конце концов забываем, кто мы такие.

3

Грамматические болезни лечатся при помощи грамматики, орфографические ошибки искореняются при помощи упражнений, страх перед чтением преодолевается чтением, боязнь не понять — погружением в текст, а привычка думать вообще приобретает благодаря размышлениям, ограниченной темой, которой мы занимаемся здесь, сейчас, на этом уроке, в классе, где мы сейчас находимся.

Это убеждение я приобрел еще в школьные годы. Мне частенько приходилось выслушивать нотации по сему поводу, меня пытались урезонивать, вполне дружелюбно, потому что среди преподавателей нет недостатка в добрых людях. Вот, например, директор коллежа, куда я попал после своего домашнего грабежа. Бывший моряк, капитан корабля, приученный океаном к терпению, отец семейства и заботливый муж своей жены, страдавшей, как говорили, каким-то загадочным заболеванием. Весь в заботах о близких и об интернате, где таких, как я, было больше чем достаточно. Сколько часов потратил он тем не менее, чтобы убедить меня в том, что я вовсе не такой идиот, каким кажусь самому себе, что мои мечты о ссылке в Африку были лишь попыткой убежать от самого себя, что достаточно заставить меня серьезно работать, и мои стенания перестанут мешать моим способностям! Я находил, что очень мило с его стороны проявлять ко мне такой интерес — это при его-то заботах, и обещал взяться за ум, да-да, прямо сейчас. Да вот, как только я оказывался на уроке математики или садился вечером за учебник биологии, чтобы выучить заданное на завтра, от несокрушимой веры в себя, приобретенной за время нашего разговора, не оставалось и следа. А всё потому, что мы с господином директором не говорили ни об алгебре, ни о фотосинтезе, а только о силе воли, о сосредоточенности; обо мне — вот о ком мы говорили, о том мне, который вполне способен подтянуться, директор уверен в этом, если только как следует примется за дело! И этот я, преисполненный внезапной надежды, клялся, что он, этот я, будет стараться, что не станет больше ничего выдумывать; но, увы, десять минут спустя, столкнувшись с алгебраичностью языка математики, он тут же сдувался, как воздушный шар, а вечером, готовясь к завтрашним урокам, уже отказывался понимать что-либо в необъяснимой тяге растений к углекислому газу, усваиваемому при помощи какого-то странного хлорофилла. Я вновь становился прежним кретином, который никогда ничего не сможет понять в *этом*, по той простой причине, что никогда ничего в *этом* не понимал.

Из многократного отрицательного опыта я вынес твердое убеждение, что с учениками надо разговаривать только на языке преподаваемого предмета. Бойтесь грамматики? Займемся грамматикой. Не нравится литература? Почитаем! Ибо, каким бы странным это вам ни казалось, дражайшие наши ученики, вы состоите из предметов, которые мы вам преподаем. Вы и есть предмет всех этих предметов. Вам плохо было в школе? Может быть.

Несладко пришлось в жизни? Некоторым несомненно. Но в моих глазах, все вы, сколько вас ни на есть, слеплены из слов, сотканы из грамматики, сложены из выученных стихотворений — даже самые бессловесные из вас, самые бедные по части словарного запаса. Всем вам не дают покоя ваши собственные представления о мире, короче говоря, вы полны литературой — все-все, прошу мне поверить.

4

По поводу тщетности любого психологического вмешательства, даже самого благонамеренного. Первый класс. Жослин вся в слезах. Начинать урок невозможно. Нет ничего более непробиваемого, чем горе, преграждающее путь к знаниям. Смех можно подавить одним взглядом, а вот слезы...

«Есть у кого-нибудь в запасе анекдот? Надо рассмешить Жослин, иначе мы никогда не начнем. Пошарьте в голове. Анекдот, *очень смешной* анекдот. Даю три минуты — не больше. Нас ждет Монтескье».

Есть анекдот.

Действительно смешной.

Все хохочут, в том числе и Жослин, которой я предлагаю поговорить после урока, на перемене, если ей это и впрямь так уж нужно.

«А сейчас занимаемся Монтескье, и только Монтескье!»

Перемена. Жослин делится со мной своим горем. Ее родители перестали понимать друг друга. Ругаются с утра до вечера. Говорят друг другу ужасные вещи. Атмосфера в доме душераздирающая, жить просто невозможно. Понятно, думаю я, еще два бегуна на длинные дистанции, которым понадобилось двадцать лет, чтобы понять, насколько они не подходят друг другу. Дело пахнет разводом. А Жослин, в общем-то неплохая ученица, катится вниз по всем предметам. И вот мне приходится разбираться с ее несчастьями. Может быть, осторожно говорю я, пусть лучше разводятся? Знаешь, Жослин, как бы это сказать... когда они разведутся и успокоятся, тебе будет легче, чем сейчас, когда они вместе, но готовы перегрызть друг другу глотки...

И так далее.

Жослин снова заливается слезами:

— Так они уже и собирались развестись, мсье, а тут вдруг передумали!..

Ах вот оно что...

Так.

Так, так, так.

Ладно.

Все гораздо сложнее, чем может показаться начинающему психологу.

— ...

— ...

— Ты знаешь Мэйзи Фэрэндж?

— Нет, а кто это?

— Это дочка Била Фэрэнджа и его жены — забыл, как ее звали. Они развелись, в свое время это была известная история. Мэйзи была совсем маленькая, когда они расстались, но от этого она не потеряла ни вот столько. Тебе бы следовало с ней познакомиться. Это роман. Американский. Автор — Генри Джеймс²⁹. Называется «Что знала Мэйзи».

Сложный, кстати, роман, который Жослин прочитала за несколько последующих недель, воодушевленная сходством почвы, на которой развертывалась семейная битва. («Они же говорят друг другу то же самое, что и Фэрэнджи, мсье!»)

²⁹ *Джеймс, Генри* (1843–1916) — американский писатель, с тридцати лет живший в Европе, а за год до смерти принявший британское гражданство. Крупная фигура трансатлантической культуры рубежа XIX и XX веков. Автор двадцати романов, более сотни рассказов и двенадцати пьес.

Да уж, что семейные распри, что детские невзгоды — во всех них есть что-то от литературы, даже когда из нанесенных ими ран льется настоящая кровь.

И все же, коль скоро господин Монтескье почтил класс своим присутствием, наш долг оказать ему честь своим вниманием.

5

Внимание на уроке... Не так просто для этих мальчишек и девчонок высиживать по пятьдесят пять минут в полном напряжении, пять или шесть уроков подряд, в соответствии с расписанием, предлагаемым школой.

Что за головоломка это расписание! Распределение уроков, предметов, часов, учеников в зависимости от количества классных помещений, состава групп, числа факультативных дисциплин, занятости лабораторий, несовместимости требований учителя того-то и преподавательницы сего-то... Правда, сегодня голову завуча спасает компьютер, в который закладываются все эти данные: «Мне очень жаль, мадам Такая-то, но с вашей средой после обеда ничего не получается — компьютер, знаете ли».

«Пятьдесят пять минут французского, — поясняю я своим ученикам, — это целый час, начало, середина и конец, в сущности, маленькая жизнь».

Ага, говори-говори, могли бы они мне ответить, а потом еще одна маленькая жизнь — литература, за ней вторая — математика, третья — история, и пошло-поехало: английский, немецкий, химия, музыка... Ничего себе, сколько реинкарнаций, за один-то день! И никакой логики! Настоящая «Алиса в Стране чудес», это ваше расписание: только что пили чай с Мартовским Зайцем и вдруг раз! — без всякого перехода уже играем в крокет с карточной Королевой Червей. Один денек в таком шейкере а-ля Льюис Кэрролл, только с меньшим количеством чудес — и никакой физкультуры не надо! И все это как бы упорядоченно: полная неразбериха, подстриженная под французский регулярный парк, один пятидесятипятиминутный боскет за другим. На такие равные кусочки делится разве что рабочий день психоаналитика, да еще копченую колбасу режут. И так круглый год, неделя за неделей! Все вперемешку и при этом никаких сюрпризов — обалдеть!

Так и хочется им ответить: хватит бухтеть, дорогие ученики, встаньте-ка лучше на наше место! Кстати, ваше сравнение с психоаналитиком не так уж и плохо; этот бедняга, сидя у себя в кабинете, целыми днями наблюдает, как перед ним проходят все мировые несчастья, мы же, учителя, взираем на его, этого мира, невежество, проходящее перед нами строго по расписанию группами по тридцать пять человек, и так всю жизнь, которая — логарифмически или нет — гораздо длиннее вашей такой короткой юности, вот увидите, увидите...

Но нет — никогда нельзя просить ученика встать на место учителя: слишком велик будет соблазн поприкалываться на этот счет. И никогда не предлагайте ему соразмерять его время и наше: оно и правда разное — наше время и его, мы живем в разных временных категориях. И вообще, ни в коем случае нельзя на уроке заводить разговоры о нем или о нас — это не по теме. Мы ведь решили: этот час грамматики должен стать неким вневременным «пузырем». Значит, надо этого придерживаться. Моя работа — сделать так, чтобы в эти пятьдесят пять минут ученики ощущали себя *грамматически*.

Чтобы достичь этого, нельзя упускать из виду, что время времени рознь: утренние часы совсем не то же самое, что послеобеденные; время пробуждения, переваривания усвоенного, время перед переменной, время после — они совершенно разные. И час, следующий за уроком математики, совсем не то же самое, что час после урока физкультуры...

Эта разница никак не влияет на внимание у хороших учеников. Они наделены благословенной способностью совершенно осознанно подстраиваться под обстоятельства, в нужный момент, в нужном месте превращаться из буйного подростка в прилежного школяра, из отвергнутого влюбленного в сосредоточенного математика, из дурилы в зубрилу, переноситься оттуда сюда, из прошедшего в настоящее, переходить от математики к

литературе... Именно скорость перевоплощения отличает отличников от проблемных учеников. Эти последние часто витают «где-то там», чем их постоянно корят учителя. Им труднее освободиться от предыдущего часа, они болтаются где-то позади в своих воспоминаниях или забегают вперед, мечтая о чем-нибудь совсем другом. Их стул — это катапульта, которая, стоит только сесть на нее, вышвыривает их за пределы класса. Если, конечно, они на ней не засыпают. Желая завладеть их вниманием, добиваясь их осознанного «присутствия» на уроке, я должен помочь им «укорениться» в моем предмете. Как это сделать? Подобное умение приходит постепенно, с опытом. Единственное, в чем можно быть уверенным: залог «присутствия» учеников — мое собственное «присутствие» в классе, мое внимание к каждому ученику, мое «присутствие» в предмете, физическое, мысленное, интеллектуальное на протяжении всех пятидесяти пяти минут, что длится урок.

6

А как тяжело вспоминать об уроках, на которых я сам не «присутствовал»! До чего тяжело видеть, как они, мои ученики, плывут себе по воле волн, пока я изо всех сил стараюсь собраться с мыслями! Что это за состояние, когда ты чувствуешь, что теряешь их, теряешь свой класс! Меня нет, их тоже, и вот мы уже потеряли друг друга. А время-то идет. Я притворяюсь, что веду урок, они — что слушают. И я, и они — все мы серьезны до предела, я усердно работаю языком, они усердно записывают. Инспектору понравилось бы: главное, чтобы все выглядело натурально... Но меня же здесь нет, черт побери, нет меня, сегодня я где-то там, но не здесь! И то, что я говорю им, не будет иметь никаких последствий, плевать они хотят на то, что слышат. Ни вопросов, ни ответов. Я как бы читаю лекцию, прячусь за ней. Сколько энергии трачу я тогда, чтобы влить в них эту смехотворную струйку знаний! Вольтер, Руссо, Дидро — я в сотне километров от них, от этого класса, от этой школы, от всего; я выбиваюсь из сил, чтобы сократить расстояние, но ничего не выходит, и от предмета своего я так же далек, как и от класса. Я не учитель, а какой-то экскурсовод, механически ведущий нудную экскурсию по опостылевшему музею.

После таких загубленных уроков я еле держался на ногах. Я выходил из класса в полном изнеможении и в дикой ярости. Ярости, жертвой которой могли стать мои ученики, ибо нет человека более скорого на ругань, чем учитель, недовольный собой. Осторожно, детки, ходите по стенке, не высовывайтесь, ваш учитель поставил себе двойку, и первому, кто подвернется под руку, мало не покажется! Не говоря уж о тетрадках, которые он будет проверять вечером дома. В этом деле усталость и нечистая совесть вообще плохие помощники. Нет уж, сегодня тетрадок не будет, и телевизора тоже, и вообще ничего — спать, только спать! Главное для учителя — сон. Хороший учитель рано ложится спать.

7

Оно чувствуется немедленно — присутствие учителя, полностью владеющего классом. Ученики ощущают его с первой минуты нового учебного года, мы все испытали это на себе: учитель входит в класс, вот он весь тут, это видно по его взгляду, по тому, как он здоровается, садится, располагается за столом. Он не распыляется, не боится реакции класса, не съезживается, нет, он делает свое дело, с самого начала, он здесь, он различает каждое лицо, и класс сразу начинает существовать в его глазах.

Свидетелем такого «присутствия» я стал в очередной раз совсем недавно в Блан-Мениле, куда пригласила меня молодая коллега, погрузившая своих учеников в мир одного из моих романов. Что за утро провел я там, у них! Я был буквально обстрелян вопросами читателей, которые, казалось, знали мою книгу, моих героев лучше меня. Они рассыпались в восторгах по поводу некоторых отрывков и забавы ради выискивали в тексте мои любимые словечки, которыми я нередко злоупотребляю... Я готовился отвечать на четко сформулированные вопросы под неусыпным наблюдением учителя, держащегося в сторонке

и озабоченного лишь порядком в классе, как мне часто приходится делать, но оказался втянут в водоворот литературного спора, в ходе которого учащиеся озадачивали меня соображениями, весьма далекими от банальных. Когда от энтузиазма голоса их взлетали так, что децибелы зашкаливали, в дискуссию вступала учительница, причем голос ее звучал на две октавы ниже, и весь класс начинал подстраиваться под нее.

Позже, за обедом в кафе, я спросил, как ей удается обуздывать такую кипучую жизненную энергию.

Сначала она ответила уклончиво: «Главное, никогда не пытаться их перекричать».

Но мне хотелось побольше поговорить о том, как она справляется с ребятами, об их явной радости от пребывания в школе, о существенности их вопросов, о серьезности, с которой они слушали, о том, как контролирует она их буйные восторги, о том, как они сами справляются с собой, когда среди них возникают разногласия, об их жизнерадостности — короче говоря, обо всем, что так расходится с ужасными представлениями о «цветных» классах, распространяемыми нашими СМИ.

Выслушав все мои вопросы, она ненадолго задумалась и ответила: «Когда я в классе или когда проверяю их работы, я всегда с ними». И добавила: «Но когда я где-то в другом месте, меня с ними уже нет». «Другое место» — это репетиции струнного квартета, требующие уже от ее виолончели абсолютного «присутствия», без какого немыслима музыка.

Впрочем, она считала, что между классом и музыкальным ансамблем, оркестром существует естественная взаимосвязь: «Каждый ученик играет на своем инструменте — с этим ничего не поделаешь. Тонкость состоит в том, чтобы узнать как можно лучше наших „музыкантов“ и достичь гармонии между ними. Хороший класс — это не полк, идущий в ногу, а оркестр, играющий симфонию. И если у вас в оркестре есть треугольник, от которого только и услышишь что „динь-динь“, или варганчик, который не издает ничего, кроме „бэнг-бэнг“, главное, чтобы они вступали когда надо и звучали как можно лучше, чтобы это были лучший треугольник и лучший варганчик, чтобы они могли гордиться своим вкладом в общее дело. А поскольку стремление ко всеобщей гармонии, так или иначе, всех их заставляет двигаться вперед, то и треугольник в конце концов освоит музыку, пусть не так блестяще, как первая скрипка, но это будет та же музыка».

Ее лицо приняло выражение обреченности: «Проблема в том, что их пытаются убедить, будто в этом мире лишь первые скрипки имеют значение».

И мгновение спустя: «И в том еще, что некоторые из наших коллег возомнили себя Караянами и не желают дирижировать муниципальным духовым оркестром».

Им подавай Берлинский филармонический, это можно понять...»

Когда, прощаясь, я снова выразил ей свое восхищение, она ответила: «Надо отметить, что вы пришли в десять. К этому времени они уже проснулись».

8

Утренняя перекличка. Услышать свое имя, произнесенное голосом учителя, — это как еще один звонок будильника. В восемь утра звук вашего имени вибрирует камертоном.

«Никак не могу отказаться от переклички, особенно от утренней, — делится со мной другой учитель, на этот раз математик, — даже если мне некогда. Просто читать имена по списку, как баранов считаешь, — это не то. Я своих лоботрясов вызываю *поименно*, глядя им прямо в глаза, я как бы встречаю их и выслушиваю ответ. В сущности, момент переклички — единственный за весь день, когда учитель может обратиться к *каждому* ученику, пусть даже только называя его по имени. Мгновение, когда ученик понимает, что существует для меня — именно он, а не кто-то другой. Я же, со своей стороны, стараюсь уловить его настроение по интонации, с которой он произносит свое „здесь!“ И если его голос дрогнет, придется в дальнейшем это учитывать».

Вот что значит перекличка...

Как-то мы с учениками играли в такую игру. Я выкликал их, они отвечали мне, а я повторял их «здесь» вполголоса, но тем же тоном, что и они, как далекое эхо:

— Манюэль?

— Здесь!

— «Здесь». Летисия?

— Здесь!

— «Здесь». Виктор?

— Здесь!

— «Здесь». Кароль?

— Здесь!

— «Здесь». Реми?

Я изображал сдержанное «здесь» Манюэля, звонкое «здесь» Летисии, мощное «здесь» Виктора, хрустальное «здесь» Кароль... Я был их утренним эхо. Некоторые старались говорить как можно неразборчивее, другие, смеха ради, меняли интонацию — чтобы я сбился, — или отвечали «да», «я здесь», «это я». А я тихонько повторял их ответы, какими бы они ни были, не выказывая при этом ни малейшего удивления. Мы были все заодно, это было как бы утреннее приветствие команды перед началом совместной работы.

А вот мой друг Пьер, учитель в Иври, никогда не проводит переключку.

«Ну, может, раза два-три, в самом начале года, чтобы запомнить лица и фамилии. И сразу перейти к серьезным делам».

Его ученики ждут в коридоре, стоя стройными рядами перед дверью класса. Вокруг в коллеже все бегают, перекрикиваются, громят столами и стульями, завоевывают пространство, ставят рекорды громкости; Пьер же спокойно ждет, когда все построится, затем открывает дверь и смотрит, как мальчики и девочки по одному заходят в класс, обменивается кое с кем непринужденными «здравствуйте», закрывает дверь, неторопливо проходит к своему столу, учащиеся же всё это время ждут, стоя рядом со стульями. Он велит им сесть и начинает: «Ну, Карим, так на чем же мы остановились?» Его уроки — это разговор, который начинается каждый раз с того места, на котором был прерван.

Из-за этой важности, с которой он отдается своему делу, этой доверительной привязанности, которую испытывают к нему ученики, этой верности, которую они хранят ему, став взрослыми, я всегда воспринимал своего друга Пьера как реинкарнацию дяди Жюля:

— Ты прямо как мой дядя Жюль из Валь-де-Марна!

На что он разражается громовым смехом:

— Ты прав, коллеги говорят, что я вышел из девятнадцатого века. Они считают, что я коллекционирую знаки уважения, что построение, вставание при появлении учителя и все такое — это дань ностальгии по старым временам. Заметь, немного вежливости никому не может повредить, но в данном случае речь о другом: призывая учеников к тишине, я даю им возможность «приземлиться» на моем уроке, начать работу спокойно. Я же, со своей стороны, смотрю на их физиономии, замечаю, кого нет, выделяю группы, которые постоянно формируются и распадаются внутри класса; короче говоря, замеряю утреннюю температуру класса.

К концу уроков, когда наши ученики падали от усталости, мы с Пьером, сами того не зная, прибегали к одному и тому же ритуалу. Мы велели им слушать город (он — Иври, я — Париж). За этим следовали две минуты неподвижности и тишины, и шум за окнами лишь подчеркивал тишину и покой, царившие в классе. В эти часы мы вели уроки более тихим голосом и часто заканчивали их просто чтением.

Сколько глупостей еще наговорит мое поколение о ритуалах, воспринимаемых как знак слепого подчинения, о выставлении оценок, считающемся теперь унижительным, о

реакционных диктантах, отупляющем устном счете, оглупляющем заучивании текстов наизусть — всё в таком роде...

В педагогике то же, что и везде: как только мы перестаём думать о частных случаях (впрочем, в этой области все случаи — частные), мы сразу укрываемся в тени надежного учения, прячемся под защиту компетентного авторитета, заручаемся каким-нибудь постановлением, подводим под свои действия идеологическую базу. Затем мы начинаем настаивать на незыблемых истинах, даже если они ежедневно опровергаются реальной жизнью. Только лет через тридцать, если все народное образование, увернувшись-таки от айсберга накопившихся за эти годы бедствий, повернет на другой галс, мы позволим себе робкий внутренний маневр, но это будет маневр всего судна в целом, и вот мы уже берем курс на новую доктрину под командованием нового капитана, естественно, добровольно, оставаясь вечными бывшими школьниками.

10

Говорите, диктант реакционен? Во всяком случае, он неэффективен, если его использует ленивый ум, ограничивающийся подсчетом баллов с единственной целью — выявить уровень грамотности ученика! Говорите, отметки унижают? Конечно, если выставление их походит на церемонию, которую я недавно видел по телевизору: преподаватель раздавал ученикам их работы так, словно объявлял приговоры преступникам, с перекошенным от злобы лицом предрекая этим бездельникам полное невежество и вечную безработицу. Боже мой, а с каким мрачным молчанием слушал его класс! Какое взаимное презрение ощущалось вокруг!

11

Для меня диктант всегда был встречей с языком во всей его полноте. Языком, который мы слышим, на котором мы рассказываем, на котором рассуждаем, пишем, строим фразы, и смысл всего этого определяется кропотливой совместной проверкой написанного. Ибо проверка диктовки не имеет иной цели, кроме проникновения в точный смысл текста, постижения самого духа грамматики, полноты и разнообразия значения слов. Если оценка должна быть мерилom чего-то, то это дистанция, пройденная участником процесса по пути понимания. И тут, как и в литературном исследовании, мы идем от особенностей текста (что за историю мне сейчас расскажут?) к разъяснению его смысла (что же все это означает?), используя интерес к его строению (как же это все действует?).

Как ни боялся я в детстве предстоящего диктанта — а надо сказать, что диктанты моих учителей выглядели набегами богачей на бедные кварталы! — я всегда с любопытством слушал первое чтение текста. Любая диктовка заключает в себе тайну: что же мне сейчас прочитают? Некоторые диктовки моего детства были так прекрасны, что еще долго таяли внутри меня, словно кисленький леденец, несмотря на позорную отметку, которую я за них получал. Этот ноль по правописанию, или минус пятнадцать, или минус двадцать семь! Мое спасение, которого никто не мог у меня отнять. И правда, к чему надрываться, работая над ошибками, если все равно результат известен заранее?

Сколько раз в детстве я говорил учителям то, что так часто слышал потом от своих учеников:

- Все равно у меня будет ноль за диктовку!
- Ах вот как, Никола ? Почему же ты так думаешь?
- А у меня всегда ноль!
- И у меня тоже!
- И у тебя, Вероник?
- И у меня, и у меня!
- Что же это за эпидемия такая? Поднимите руку, у кого еще ноль по правописанию?

Такой разговор обычно происходил в начале года во время первого знакомства с новым классом, например с четвертым, и систематически предварял первую из многочисленных диктовок.

— Ладно, вот и посмотрим. Возьмите чистый лист бумаги, пишите: «Диктант».

— Нееееет, мсье, не наааааадо!

— Торг здесь не уместен. «Диктант». Пишите: «Никола утверждает, что всегда будет получать „нуль“ за правописание. Никола утверждает...»

Импровизированная диктовка, которую я сочиняю с ходу — моментальная реакция на их признание в собственной слабости:

— «Никола утверждает, что всегда будет получать „нуль“ за правописание только потому, что никогда не получал другой оценки. Фредерик, Сами и Вероник разделяют его мнение. „Нуль“, преследующий их с самой первой диктовки, окончательно победил. Послушать их, так все они — пленники „нуля“ и никогда не смогут освободиться. И ни один из них не знает, что ключ от темницы лежит у него в кармане».

Придумывая этот текст, в котором, чтобы разжечь их любопытство, каждому отведена своя маленькая роль, я не забывал и о грамматике: придаточное предложение, причастный оборот, однородные придаточные с разными подлежащими, объединенные одним словом в главном, частицы «не» и «ни» и т. д.

Закончив писать диктовку, мы сразу принялись за ее проверку.

— Так, Никола, прочитай-ка нам первую фразу.

— «Никола утверждает, что всегда будет получать „нуль“ за правописание».

— Это первая фраза? Ты уверен, что она кончается именно здесь?

— ...

— Читай внимательно.

— А, нет, еще «только потому, что никогда не получал другой оценки».

— Правильно. Назови первый глагол.

— «Утверждает»?

— Да. А в неопределенной форме?

— «Утверждать».

— Какое спряжение?

— Эээээ...

— Первое. Сейчас мы об этом поговорим. А время какое?

— Настоящее.

— А где тут подлежащее?

— Я. То есть «Никола».

— А какое лицо?

— Третье лицо, единственное число.

— Правильно. Глагол «утверждать» в настоящем времени, в третьем лице единственного числа. Обрати внимание на окончание. Теперь ты, Вероник. Назови следующий глагол в этой фразе.

— «Будет»!

— «Будет»? Глагол «быть»? Ты уверена? Читай еще раз.

— ...

— ...

— Ой, нет, не «будет», а «будет получать». Глагол «получать»!

— В каком времени?

Во время такой проверки мы повторяем все с нуля — ведь с него-то все и началось. «В четвертом классе?» — спросите вы. Ну да, в четвертом — с нуля! И в третьем еще не поздно начать с нуля, что бы там ни говорили про требования школьной программы. Я вовсе не собираюсь тут разводить вечные сетования о недостатке фундаментальных знаний, переводя стрелки на коллег. Повторяем с нуля, и всё тут: каждый глагол, каждое существительное, каждое прилагательное, все, что их связывает, шаг за шагом, повторяем язык, который они

должны воссоздавать заново с каждой новой диктовкой, слово за слово, фраза за фразой.

- «Оценки», имя существительное, женский род, единственное число.
- Падеж?
- Родительный.
- На какой вопрос отвечает?
- Кого, чего.
- А есть ли определения, относящиеся к слову «оценка»? Где стоят?
- Перед словом: «другой» — «другой оценки».
- Чем оно выражено? Какой частью речи?
- Прилагательным.

Эти ежедневные диктовки, которые мы писали в первые недели учебного года, представляли собой коротенькие рассказы, составлявшие нечто вроде классного дневника. Они не готовились заранее. И, поставив последнюю точку, мы немедленно начинали их скрупулезную коллективную проверку. После этого я еще раз проверял их, уже в одиночестве, дома, и на следующий день раздавал с проставленными отметками — именно с отметками, чтобы полюбоваться физиономией Никола, впервые освободившегося от своего вечного «нуля». Их надо было видеть — Никола, Вероник, Сами в день, когда они распахивали наконец двери своей орфографической темницы! Пленники на свободе! Наконец-то! Что за чудесное освобождение!

От диктовки к диктовке усвоение грамматических понятий вырабатывало автоматизм, благодаря которому наши проверки проходили всё быстрее и быстрее.

Довершали дело словарные соревнования. Олимпийская составляющая обучения. Нечто вроде спортивной разминки. Надо было как можно быстрее — время отсчитывалось секундомером — найти в словаре искомое слово, проверить написание, вписать заново в коллективную классную тетрадь, затем — в свою собственную и перейти к следующему. Умение пользоваться словарем всегда входило в число моих приоритетов, я подготовил замечательных мастеров в этом виде спорта, двенадцатилетних атлетов, которые отыскивали нужное слово на счет «раз, два», максимум «три»! Чувство взаимосвязи между построением словаря и его толщиной — вот область, в которой многие из моих учеников могли положить меня на обе лопатки. (Раз занявшись этим, вскоре мы распространили наши исследования систем классификации на библиотеки и книжные магазины, выискивая там авторов, названия и издателей романов, которые мы читали в классе или о которых я им рассказывал. Первым на спор найти нужное тебе название — вот это был класс! Иногда книготорговец вручал победителю книгу в подарок.)

Так вот мы и писали наши ежедневные диктовки, пока в один прекрасный день я не поручил одному из бывших двоечников составить текст очередного диктанта: «Сами, будь добр, подготовь нам диктант на завтра: текстик строчек на шесть с двумя возвратными глаголами, одним причастным оборотом, одним деепричастным, одним указательным местоимением, одним притяжательным, ну и добавь пару-тройку слов потруднее из тех, что мы уже проходили, ну и еще что-нибудь — на твой вкус».

Вероник, Сами, Никола по очереди придумывали тексты, сами диктовали их и сами же потом руководили их проверкой. И так до тех пор, пока каждый в классе не смог наконец взлететь на собственных крыльях, научившись самостоятельно и со знанием дела, без всякой посторонней помощи проверять и править самого себя.

Неудачи — а они, конечно же, имели место — случались чаще всего по причинам внешкольного характера: не выявленная вовремя дислексия или глухота... Например, один мальчик в третьем классе, который допускал совершенно невообразимые ошибки: путал «е» и «и», «о» и «у», как выяснилось впоследствии, просто не различал высоких частот. Матери и в голову не приходило, что ее сын может страдать глухотой. Когда он возвращался из магазина, забыв выполнить половину поручений, когда отвечал невпопад, когда, увлекшись чтением, сборкой пазла или модели парусника, будто не слышал ее слов, она относилась все это на счет рассеянности, которая ее умиляла. «Я всегда считала, что сын у меня мечтатель».

Представить его себе глухим было выше ее материнских сил.

(Зрение и слух каждого ребенка при поступлении в школу следовало бы подвергать неременной и тщательной проверке. Это помогло бы избежать ошибочных суждений со стороны преподавателей и умерить родительскую слепоту, избавив ребят от ненужных душевных страданий.)

По мере того как каждый из них освобождался от своего «нуля», диктовки становились более редкими и более длинными, еженедельные диктовки, диктовки литературные, подписанные именами Гюго, Валери, Пруста, Турнье, Кундеры, иногда настолько прекрасные, что мы заучивали их наизусть, как, например, этот текст Козна³⁰ из «Книги о моей матери»:

Ну почему люди такие недобрые? Почему они так быстро впадают в злобу, в ненависть? Почему они так любят мстить, говорить о вас гадости, и это при том, что все они скоро умрут, бедняги? Как эта ужасная история, приключаящаяся с людьми, которые приходят на эту землю, смеются, двигаются и вдруг раз! — и не шевелятся больше, не делает их добрыми — просто невероятно! И почему, как только вы отнесетесь к ним по-доброму, они решают, что вы не представляете собой ничего особенного, а значит, и опасности, и сразу начинают говорить с вами попугайским голосом? Получается, что добрые должны притворяться злыми, чтобы их не трогали или даже, что еще страшнее, чтобы их любили. А что, если просто лечь и уснуть? Спящую собаку блохи не кусают. Да, давайте ляжем спать — сон наделен всеми преимуществами смерти, но лишен ее недостатков. Пойдемте уляжемся в миленький гробик. Как бы мне хотелось иметь возможность вынуть — словно беззубый старик, который вынимает на ночь челюсть и кладет ее в стакан рядом с постелью, — вынуть из черепной коробки мой мозг, вынуть сердце, что стучит так сильно — этого беднягу, слишком усердно выполняющего свою работу, — вынуть мозг и сердце, опустить их, этих бедных миллиардеров, в освежающий раствор, а я бы пока спал, спал как дитя, которым никогда уже больше не буду. Как мало людей вокруг, и как внезапно опустел этот мир.

Затем наступал ответственный момент — день, когда я приносил своим четвероклассникам или даже шестиклассникам на проверку сочинения, написанные учениками первого класса.

Мои недавние пленники «нуля» преображаются в строгих арбитров и, словно стайка поднаторевших в правописании воробьев, набрасываются на тетради с сочинениями.

— Мой нигде не делает согласований, мсье!

— А у моей не знаешь, где фраза начинается, а где кончается...

— А что мне ставить на полях, когда я исправил ошибку?

— Да что хочешь, Господи...

Потом — веселое возмущение старшеклассников, когда они читают на полях замечания безжалостных проверяющих:

— Нет, вы только посмотрите, что он тут понаписал: «Кретин!», «Тупая башка!», «Дурак!». И красным! Красным!!!

— Ты, наверно, забыл про согласования...

Затем, уже среди старших, проводилась кампания по проверке ошибок, в ходе которой в общих чертах практиковалась метода, применяемая младшими: проверка написания глаголов, существительных, всех возможных согласований — короче говоря, применение грамматических правил, позволяющее к тому же выявить расплывчатость некоторых фраз, а следовательно, неточность некоторых умозаключений. В связи с этим было сделано открытие, ставшее темой нескольких уроков: грамматика — главный инструмент

³⁰ Козн, Альбер (1895–1981) — швейцарский писатель, поэт, драматург, писавший по-французски, чье творчество несет на себе глубокий отпечаток его еврейских корней.

организованной мысли; тот самый логический анализ (о котором все вспоминают с содроганием) направляет движение нашей мысли, оттачивает которую правильное употребление придаточных предложений.

Случалось даже, что мы и со старшеклассниками устраивали небольшую диктовку, дабы оценить роль придаточных в правильно построенном рассуждении. Однажды нам в этом помог сам Лабрюйер³¹.

«Ну-ка, возьмите лист бумаги и посмотрите, как Лабрюйер, противопоставляя придаточные и главные предложения — в единственной фразе! — предвещает конец одного мира и начало другого. Сейчас я прочитаю вам текст и поясню кое-какие слова, которые сегодня кажутся непонятными. Слушайте хорошенько. Потом запишете всё не торопясь. Я буду диктовать медленно, а вы следуйте за мной шаг за шагом, как будто это ваши рассуждения!

В то время как вельможи не желают ничему учиться — не только тому, чем они могли бы послужить монарху и государству, но даже тому, что нужно для управления собственными делами, домом и семьей; как они похваляются своим невежеством, позволяют управляющим обирать их и вертеть ими, а сами довольствуются тем, что считают себя знатоками вин и ценителями тонкого стола, навещают Фрин и Тайс, ведут разговоры о гончих и борзых и в точности знают, сколько почтовых перегонов от Парижа до Безансона или Филиппсбурга, простые граждане знакомятся с внешними и внутренними делами королевства, постигают науку правления, становятся тонкими политиками, изучают сильные и слабые стороны своего государства, помышляют о месте, получают его, возвышаются, достигают могущества и облегчают государю заботы о благе отечества.

А теперь — главный выпад:

И вельможи, презирая их, склоняются перед ними, почитая за счастье стать их зятьями.³²

Предложение с двумя деепричастными оборотами, противоположными по смыслу: один — „презирая их“ — выражает внутреннее отношение, а второй — „почитая за счастье“ — с убийственной прямоотой вскрывает истинный порядок вещей».

12

А почему бы и не учить эти тексты наизусть? Кто сказал, что нельзя приобщаться к литературе таким образом? Потому что это уже давно не делается? Что же, лучше пустить страницы, подобные этой, по ветру, как осенние листья, и всё только потому, что сейчас не то время? Мыслимо ли не попытаться удержать — удержать в памяти встречу с ними? Будь эти замечательные страницы живыми существами, имей они лицо, рост, вес, голос, улыбку, запах, разве не стали бы мы всю оставшуюся жизнь кусать локти, что дали им уйти? Мы храним лишь след воспоминания, и тот однажды сотрется, превратившись в воспоминание о следе... Зачем же обрекать себя на такое? («Кажется, да, точно, мы изучали в лицее какой-то текст. Пойдите, чье же это? Лабрюйера? Монтескье? Фенелона? Семнадцатый век? Или восемнадцатый? Текст, где в единой фразе описывался плавный переход от одного строя к другому...») Во имя чего же все это? Только потому, что учителя былых времен вдалбливали

³¹ Лабрюйер, Жан де (1645–1696) — французский писатель, мастер афористической публицистики. В книге «Характеры, или Нравы нашего века» (1688) дал сатирический портрет высшего сословия.

³² Перевод Э. Линецкой и Ю. Корнеева.

в наши головы идиотские стишки и что некоторые старые дураки считали память не столько библиотекой, требующей постоянного пополнения, сколько неким мускулом, нуждающимся в тренировке? Ох уж эти еженедельные стихотворения, в которых мы ничего не понимали и каждое из которых стирало в памяти предыдущее, как будто мы тренировали не память, а забывчивость! Интересно, наши преподаватели давали их нам потому, что они им нравились, или потому, что их собственные учителя втемяшили им в свое время, будто эти произведения принадлежали Пантеону Мертвой Литературы? Уж они-то мне наставили «нулей»! Наоставляли после уроков!..

— Конечно же, Пеннакьони, пересказ вы не приготовили!

— Да нет же, мсье, я приготовил! Еще вчера я знал всё наизусть. Я даже брату рассказывал. Только вчера вечером это называлось «стихотворение», а сегодня вы говорите «пересказ», а меня это путает, у меня от такого ступор начинается.

Естественно, я ничего подобного не говорил — слишком боялся. И возвращаясь я к этой жуткой попытке пересказом у подножия учительской кафедры, только чтобы попытаться уяснить, почему же сегодня любая апелляция к памяти вызывает такое презрение. Может быть, отказ от сохранения в ней прекраснейших страниц изящной словесности и философских сочинений есть лишь желание отвести от себя этих призраков? Может, мы запрещаем себе запоминать эти тексты только потому, что какие-то идиоты превратили их когда-то в тренажеры для памяти? Если дело в этом, значит, одна глупость сменила другую.

Мне могут возразить, что хорошо организованный мозг не нуждается в заучивании наизусть. Он сам найдет, что ему нужно. Он запоминает то, что составляет смысл, и, что бы я там ни говорил, оставляет в стороне чувство прекрасного. Впрочем, он может в один миг найти в своей библиотеке нужную книгу и в две минуты отыскать нужные строчки. Я и сам знаю, где меня ждет мой Лабрюйер, вон он стоит на своей полке, как и Конрад, и Лермонтов, и Перрос, и Чандлер... вся компания тут как тут, расставлена в алфавитном порядке среди такого знакомого пейзажа. Я уж не говорю о киберпространстве, где можно одним движением пальца пролистать всю память человечества. Учить наизусть? Когда память исчисляется гигабайтами?!

Все это верно, но главное в другом.

Когда я учу наизусть, я ничего не замещаю — я добавляю.

Наизусть — на память... В данном случае речь идет о памяти языка.

Погрузиться в язык — вот в чем штука.

Выпить чашечку и попросить еще.

Заставляя своих учеников — от шестого класса до выпускного — заучивать столько текстов (по одному в неделю) и рассказывать их каждый день, я окунал их с головой в бурный поток языка — тот, что, протекая сквозь века, бьется в нашу дверь и захлестывает наше жилище. Естественно, вначале они брыкались! Вода казалась им слишком холодной, поток — слишком глубоким, течение — слишком сильным, а сами они — слишком слабыми. Все правильно. Типичный мандраж перед прыжком в воду:

— Ой, у меня не получится!

— У меня память плохая.

(И это они говорят мне, с моей врожденной амнезией!)

— Такой длиииинный кусоок!

— Труууудно!

(Опять же, говорить такое мне, признанному крестину!)

— И потом, стихи... Так сегодня не говорят...

(Ах! Ах! Ах!)

— А отметки будете ставить, мсье?

(А как же!)

И это не считая протестов оскорбленной взрослости:

— Наизусть? Что мы, маленькие, что ли?

— Я не попугай!

Они играли ва-банк, это была настоящая война. И еще они говорили все эти вещи, потому что слышали их от других. Вот, к примеру, их родители, куда как передовые: «Неужели, господин Пеннакьони, вы задаете им зубрить тексты наизусть? Но мой сын уже не ребенок!» Ваш сын, сударыня, никогда не перестанет быть ребенком перед лицом языка, и вы тоже совершенный младенец, и я смешной карапуз, и все мы, сколько ни на есть, — мелюзга, мелочь, уносимая мощным потоком, бьющим из устного источника Словесности; и вашему сыну захочется в один прекрасный день знать, в каком это языке он плавает, что за поток несет его, питает и утоляет его жажду, и стать самому носителем этой красоты — и с какой гордостью! — и, вот увидите, он будет обожать все это, вкус слов у себя во рту, яркие вспышки мыслей в голове, и откроет необычайные возможности своей памяти, бесконечную гибкость этой резонансной камеры неслыханных размеров, где будут звучать самые прекрасные фразы, где будут жить самые светлые мысли; когда он обнаружит бездонную пропасть своей памяти, то до безумия влюбится во внутриязыковое плавание, с радостью будет нырять и нырять в волны языка, вылавливать из его глубин всё новые и новые тексты, и через всю жизнь пронесет сознание, что вот они там — составляющие его сущности, и станет рассказывать их наизусть, когда вздумается, повторять про себя, чтобы снова ощутить вкус слов. Носитель письменного предания, благодаря ему вновь ставшего устным, он, возможно, даже перескажет их кому-нибудь другому, чтобы поделиться, покрасоваться или предстать в глазах этого другого этаким педантом — оно того стоит. Делая так, он будто бы вернется в дописьменные времена, когда жизнестойкость мысли зависела лишь от нашего голоса.

Вы скажете — шаг назад, я отвечу — встреча после долгой разлуки! Знания облекаются в плоть. Наши уши, глаза ловят их, наши уста их передают. Конечно, они получены из книг, но книги происходят от нас. Мысль не беззвучна, и любовь к чтению ведет свое начало от необходимости что-то сказать.

13

Да, и последнее! Не волнуйтесь, сударыня (мог бы я добавить сегодня этой мамаше, которая ничуть не меняется от поколения к поколению), вся эта красота, поселившаяся в голове вашего отпрыска, не помешает ему ни общаться в чате на «албанском» языке с друзьями по Сети, ни писать эсэмэски, один вид которых исторгает из вашей груди вопль ужаса: «Господи, ошибок-то, ошибок! Как она пишет, эта нынешняя молодежь?! Куда только смотрит школа?!» Успокойтесь. Заставляя ваших детей работать, мы ни в коей мере не покушаемся на капитал материнской тревоги за родное дитя.

14

Значит, один текст в неделю, который мы — и они, и я — должны быть готовы рассказать в любой день и час года без подготовки. Все тексты пронумерованы — чтобы усложнить задачу. Первая неделя — текст № 1. Вторая неделя — текст № 2.

Двадцать третья — текст № 23. На первый взгляд совершенно дурацкая механика, но эти номера вместо названий — игра, прибавляющая к гордости знания еще и удовольствие азарта.

— Амели, Расскажи-ка нам номер девятнадцатый.

— Девятнадцатый? Это отрывок из Констана про робость, начало «Адольфа»³³.

— Совершенно верно. Слушаем тебя.

³³ *Констан* (де Ребек), *Бенжамен* (Анри, 1767–1830) — французский писатель и политический деятель, прославился своим психологическим романом «Адольф» (1816).

Мой отец был робок... Его письма были ласковы, полны благоразумных и мягких наставлений; однако едва мы оказывались вместе, в нем появлялось нечто принужденное, чего я никак не мог объяснить себе и что крайне тяжело на меня действовало. Тогда я не ведал еще, что такое робость, эта внутренняя мука, которая преследует нас до самого преклонного возраста, сдерживает в нашем сердце самые глубокие впечатления, замораживает наши слова, искажает в наших устах все, что мы пытаемся сказать, позволяя нам изъясняться лишь посредством самых неясных слов или более или менее горькой иронии, как если бы мы желали отомстить нашим чувствам за ту боль, которую испытываем от невозможности их выразить. Я не знал, что отец робел даже перед собственным сыном и что часто, прождав напрасно какого-либо свидетельства моей любви к нему, выразить которую мне словно запрещала его холодность, он покидал меня со слезами на глазах и жаловался другим, что я его не люблю.

- Потрясающе. Восемнадцать из двадцати возможных. Франсуа, номер восемь.
- Номер восемь. Вуди Аллен, «Лев и ягненок».
- Давай.

Лев и ягненок могут разделить постель, только ягненок будет спать недолго.

- Безупречно. Двадцать из двадцати! Самюэль, номер двенадцатый!
- Двенадцатый — это «Эмил» Руссо³⁴. Описывает состояния человека.
- Точно.
- Погодите, мсье. Франсуа урвал двадцать из двадцати за две строчки Вуди, а я должен рассказывать половину «Эмиля»?
- Жизнь — лотерея, как это ни ужасно.
- Ладно.

Вы полагаетесь на существующий строй общества, не помышляя о том, что этот строй подвержен неизбежным переворотам и что вам невозможно ни предвидеть, ни предупредить того строя, который могут увидеть ваши дети. Вельможа делается ничтожным бедняком, монарх — подданным; разве удары судьбы столь редки, что вы можете рассчитывать избежать их? Мы приближаемся к эпохе кризиса, к веку революций. Кто может ручаться вам за то, чем вы тогда станете? Все, что люди создали, люди могут и разрушить; неизгладимы лишь те черты, которые запечатлевает природа, а природа не создает ни принцев, ни богачей, ни вельмож. Что же станет делать в ничтожестве этот сатрап, которого воспитали вы для величия? Что будет делать в бедности этот ростовщик, который умеет жить только золотом? Что будет делать, лишившись всего, этот пышный глупец, не умеющий пользоваться самим собою, видящий свое существование в том, что ему совершенно чуждо? Счастлив тот, кто умеет в этом случае расстаться с положением, которое его покидает, и остаться человеком назло своему жребия! Пусть хвалят сколько угодно того побежденного короля, который как бешеный хочет похоронить себя под обломками своего трона; что касается меня, я презираю его — я вижу, что все его существование основано на одной его короне и что, когда он не король, он — ничто; но кто теряет корону и умеет обойтись без нее, тот становится выше ее. Из королевского сана, носить который может не хуже другого и трусливый, и злой, и безумный человек, он возвышается до звания человека, носить которое умеют лишь немногие люди.³⁵

³⁴ В романе-трактате «Эмил, или О воспитании» (1762) французского писателя и философа Жан-Жака Руссо (1712–1778) выражены его эстетические и педагогические взгляды.

³⁵ Перевод П. Д. Первова.

— Кто скажет лучше?

Я не бросал их на произвол этих текстов. Я нырял в тексты вместе с ними. Наиболее сложные мы учили вместе, прямо на уроке, одновременно их анализируя. Я ощущал себя тренером по плаванию. Самые слабые из моих подопечных продвигались с трудом, держа голову на поверхности, отрезок за отрезком, вцепившись обеими руками в доску моих объяснений, затем начинали плавать самостоятельно: сначала — несколько предложений, потом — абзац, не подглядывая, по памяти. Как только они начинали понимать, что читают, им открывались их мнемонические возможности, и зачастую еще до конца урока многие из них могли уже рассказать наизусть весь текст, проплывая бассейн из конца в конец без помощи тренера. Они начинали получать удовольствие от собственной памяти. Они и не думали, что такое возможно. Это было что-то вроде открытия у себя новых способностей — как если бы у них вдруг выросли плавники. Удивляясь, что всё так быстро запомнили, они повторяли текст еще раз и еще — без запинки. Дело в том, что, преодолев барьер нерешительности, они начинали понимать то, что запечатлелось в сознании. Они уже не просто пересказывали вереницу слов, не просто барахтались в своей памяти — они погружались в разум другого человека, в его язык, в его мысли. Они не пересказывали «Эмиля», а воспроизводили цепь рассуждений Руссо. И гордились этим. Нет, в такие моменты вы не принимаете себя за Руссо, но всё же пророческие обличения Жан-Жака срываются с ваших губ!

15

Иногда они играли. Тренировались вместе, устраивали соревнования на скорость или избирали для пересказа текста тон ему не свойственный: ярость, удивление, страх, начиная то лепетать, то вещать, будто с трибуны, то задышаться от любовной страсти; при случае то один, то другой изображали действующего на тот момент президента, министра, певца, телеведущего... Иногда они предавались довольно рискованным забавам, опасным упражнениям на сообразительность; они заключали головокружительные пари, в чем признались мне однажды за ужином по поводу окончания учебного года мои второклассники. (Все хранилось в секрете, чтобы в нужный момент поразить учителя.) Между грушами и сыром некая Каролин показала пальцем на некоего Себастьяна:

— Пари. Первый абзац номера три, вторая строфа номера одиннадцать, четвертая номера шесть и последняя фраза пятнадцатого.

Себастьян, которому был брошен дерзкий вызов, мысленно соединил «лоскутки» этого «одеяла» и прочел почти без колебаний совершенно несуразный текст. После чего, в свою очередь, поставил условие:

— А теперь выдай нам «Мост Мирабо»³⁶. — И уточнил: — Задом наперед.

— Легко!

И вот в моих удивленных ушах под мостом Мирабо Сена повернула вспять и, пройдя путь от последней до первой строки, исчезла в глубинах Лангрского плато. Довольная собой, Каролин выпалила напоследок перевернутое имя автора:

— Рениллопа!

— А вы так умеете, мсье?

Инспектор из Академии народного образования, возможно, и не пришел бы в восторг от того, что Сена поворачивает вспять и устремляется к своим истокам, что барабан стиральной машины перемешивает все тексты, выученные за год, что шестиклассники развешивают в классе транспаранты с самыми вопиющими своими орфографическими ошибками, словно останки поверженных врагов. Меня могли бы также упрекнуть в том, что

³⁶ «Мост Мирабо» — знаменитое стихотворение французского поэта Гийома Аполлинера (1880–1918).

я отдаю работы старших на проверку не знающим жалости малышам. Разве это не унижение одних за счет превознесения других? С такими вещами, однако, не шутят! Мне пришлось бы оправдываться: без паники, господин инспектор, со знаниями тоже надо уметь играть. Игра — второе дыхание, открывающееся во время тяжелой работы, это дополнительное биение сердца, она никоим образом не умаляет серьезности обучения, она дополняет его, как своеобразный контрапункт. И потом, игра помогает лучше усвоить предмет. Вы же не станете считать ребенком боксера, прыгающего со скакалкой, это было бы неосмотрительно.

В мешанине из текстов, которую выдавали мои второклассники, не было ни малейшего неуважения к великой Литературе, они лишь похвалялись владением собственной памятью. Они не принижали знания, а лишь самым невинным образом восхищались собственным умением. Они выражали гордость собой — играючи, без всякого чванства. И потом они просто подшучивали над Руссо, утешали Аполлинера, веселились с Корнелем, который тоже не прочь был пошутить и которому наверняка уже наскучила вечность, куда он угодил. Но главное, атмосфера доверия, рождаемая игрой, лишь укрепляла серьезность каждого. Они покончили со страхом. И словно бы восклицали: «Ну вот, наконец-то!»

Впрочем, иногда и я играл с ними.

Нам случалось с величайшим интересом исследовать глупость, глядя, как она сосуществует с редким умом. Очарованные, но до крайности утомленные восхождением на горные выси «Племянника Рамо»³⁷, мы позволяли себе перерыв на «карамбар»³⁸. По одному «карамбару» на каждого (у меня был запас на такой случай). Тот, кто находил самую глупую, самую тупую историю, предлагаемую этим лакомством, шутку, выглядевшую самой оскорбительной с вершины разума, на которой мы разбили бивуак, зарабатывал второй «карамбар», после чего мы продолжали восхождение, более прежнего польщенные честью общения с Дидро. Мы знали, что понимание текста достигается лишь напряжением разума, и только им, тогда как глупая шутка позволяет расслабиться, создавая особую атмосферу общности, возможную лишь среди друзей. Ведь самые идиотские анекдоты мы рассказываем лишь очень близким людям, отдавая тем самым должное их остроумию. С другими же мы умничаем, выставляем напоказ свои познания, красуемся — обольщаем, короче.

16

Какими же они были, мои ученики? Кое-кто — такими же, каким был я в их возрасте и каких полно в частных заведениях, куда попадают мальчики и девочки, исключенные из престижных лицеев. Многие по несколько лет сидели в одном классе и были о себе самого невысокого мнения. Другие просто чувствовали себя лишними, отвергаемыми «системой». Некоторые напрочь разучились делать усилие, заставлять себя — короче говоря, работать; они просто жили как живется, отдаваясь начиная с восьмидесятих годов безудержному потреблению, «не умея пользоваться самими собою, видя свое существование в том, что им совершенно чуждо» (эта мысль Руссо, транспонированная в материальный план, не оставила их равнодушными).

И конечно же, все они были частными случаями. Вот этот — отличник из провинциального лицея — вдруг оказался последним на борту шикарного лайнера, следующего курсом на престижные учебные заведения, куда он попал со своим великолепным личным делом; это привело его в такое отчаяние, что у него волосы стали выпадать клоками — нервная депрессия в пятнадцать лет! А вот эта, малость склонная к суициду, вздумала резать себе вены. («Зачем ты это сделала?» — «Интересно было посмотреть!») Или вот та — заигрывала попеременно то с анорексией, то с булимией, а этот

³⁷ «Племянник Рамо» — роман (1762) французского писателя-энциклопедиста Дени Дидро (1713–1784).

³⁸ «Карамбар» — конфеты, на обертках которых печатают разные шутки и анекдоты.

все время сбегал куда-то, тот приехал из Африки, травмированный кровавой революцией, этот — сын неутомимой консьержки, или еще вот этот, флегматичный сынок вечно отсутствующего дипломата; некоторые были подавлены семейными проблемами, другие без зазрения совести играли на этом; эта мрачная готка с черными глазными впадинами и фиолетовыми губами поклялась никогда и ничему не удивляться, а тот, весь в заклепках, с ирокезом на голове и в кованых ботинках, сбежавший из технического лицея в Кашане, чтобы начать у нас все заново, с восторгом открыл для себя бесплатность культуры. Это были мальчики и девочки своего поколения, шпана семидесятых, панки или готы восьмидесятых, неохиппи девяностых; они подхватывали новую моду, как подхватывают инфекцию, — моду на одежду, на музыку, на еду, на игры, на электронику — и потребляли, потребляли.

Ученики моих первых преподавательских лет в одном коллеже в Суассоне, в семидесятые годы, большей частью составляли так называемые особые классы, о которых нам с профессиональным юмором было сказано, чтобы мы с ними «особо не церемонились». Одни из них состояли на учете в правоохранительных органах. Другие были сыновьями португальских фермеров, местных торговцев или крупных землевладельцев, чьи поля покрывали гигантские равнины Востока, богатые молодежью от четырнадцати до восемнадцати, принесенной в жертву европейскому суициду. Шпана жила в тех же комнатах, что и «нормальные» ученики, ела в той же столовой, играла в те же игры, и эту удачную смесь надо отнести к заслугам дирекции. Многие страдали запущенной формой безграмотности, и я вынужден был в четвертом или третьем классе заново учить «особых» мальчишек и девчонок чтению и письму; именно с ними мы разбирались с «этим» — тем самым, что никогда не получается, поскольку они не знали, что «это» всего лишь означает существующее здесь и сейчас, просто существующее.

Вместе с преподавателем математики я учил их играть в шахматы. Честное слово, у них не так плохо получалось! Мы соорудили большую настенную шахматную доску, которую они подарили мне, когда я уходил («Мы себе еще сделаем!»), и которую я свято храню с тех пор. Их достижения в сложной игре (то было время знаменитой схватки за чемпионство между Спасским и Фишером), уверенность, которую они приобрели, побив учеников соседнего лицея («Мы побили латинистов, мсье!»), не могли, естественно, не сказаться на их успехах в математике в том же году, равно как и на результатах экзаменов на аттестат о неполном среднем образовании. В конце учебного года мы поставили «Короля Юбю»³⁹ силами сразу нескольких классов. Постановщиком стала моя приятельница Фаншон, преподающая сегодня в Марселе, настоящий дядя Жюль в юбке, такая же несгибаемая в борьбе против всяческих проявлений невежества. К слову сказать, появление Папаши и Мамаши Юбю в гигантской супружеской постели на глазах присутствовавшего в зале местного епископа наделало много шума. (Кровать стояла вертикально, чтобы царственных супругов было видно из самого дальнего конца спортзала, где давался спектакль.)

С 1969-го по 1995-й, исключая два года, что я проработал в учреждении для отборных кадров, большинство моих учеников были, как и я сам когда-то, детьми и подростками с определенными проблемами. Самые тяжелые из них страдали примерно теми же «недугами», что и я в их возрасте: неуверенность в себе, нежелание стараться, неспособность к концентрации внимания, несобранность, мифомания, стремление сбиваться в банды (у моих шпанцов), иногда употребление алкоголя, наркотиков (якобы мягких, от которых, однако, по утрам взгляд «уплывает»)...

Это были *мои* ученики. (Притяжательное местоимение не указывает здесь на обладание, но лишь обозначает промежуток времени, годы нашей совместной учебы, когда ответственность за учеников полностью лежит на учителе.) Отчасти моя работа состояла в

³⁹ «Король Юбю» — эксцентрическая комедия (1894) французского писателя Альфреда Жарри (1873–1907), высмеивающая мещанскую тупость и дикость нравов буржуазного общества.

том, чтобы убедить *моих* учеников (самых запущенных), что вежливость предрасполагает к размышлению больше оплеухи, что жизнь в обществе ко многому обязывает, что день и час сдачи домашнего задания не подлежат обсуждению, что сляпанная наспех домашняя работа должна быть переделана к следующему дню и так далее и тому подобное, но что никогда, НИКОГДА (большими буквами) ни я, ни мои коллеги не бросим их на пол-пути. Ради того, чтобы у них получилось «это», надо было втолковать им заново само понятие «старание», а следовательно, привить им вкус к одиночеству и тишине, научить распоряжаться собственным временем, то есть самим одолевать скуку. Мне приходилось задавать им упражнения на скуку, да-да, чтобы они почувствовали время. Я просил их ничего не делать: не отвлекаться, не развлекаться ничем (даже разговорами), не работать — короче, не делать ничего, совсем ни-че-го.

— Упражнение на скуку, сегодня вечером, перед тем как сесть за уроки, двадцать минут ничегонеделанья.

— И музыку не слушать?

— Ни в коем случае!

— Двадцать минут?

— Двадцать минут. По часам. С семнадцати двадцати до семнадцати сорока. Идете прямо домой, никому ни слова, никаких кафе, про игровые автоматы вы даже не слышали, приятелей не узнаете, прохо дите к себе в комнату, садитесь на край кровати, портфель не открываете, плеер не надеваете, на игровую приставку не смотрите и сидите двадцать минут, глядя перед собой.

— А зачем?

— Ради интереса. Сосредоточьтесь на проходящих минутах, ни одной не упустите, а завтра расскажете мне, как все получилось.

— А как вы проверите, что мы это делали?

— Никак.

— А что будет через двадцать минут?

— Вы наброситесь на свои уроки, как голодный на кусок хлеба.

17

Если бы мне надо было охарактеризовать эти уроки, я сказал бы, что мы с моими так называемыми двоечниками боролись на них с заклятьями, которые, как в волшебных сказках, грозили оставить нас в плену вечного настоящего. Покончить с «нулем» по правописанию означало снять такое вот заклятье. Победить рок. Выйти из заколдованного круга. Проснуться. Ступить одной ногой в реальность. Оказаться в настоящем изъявительного наклонения. Начать понимать. Надо, обязательно надо, чтобы настал этот день, когда мы проснемся! День, час! Никто не может навсегда остаться тупицей! Мы не в сказке, и никто нас не заколдовывал!

Может, в этом и состоит суть преподавания? Снять заклятье, сделать так, чтобы каждый урок звучал сигналом к пробуждению.

Представляю, как подобные заявления должны раздражать несчастных преподавателей, что тянут лямку в самых жутких классах сегодняшних городских окраин. Как легкомысленно выглядят эти слова на фоне социальных, политических, экономических, семейных и культурных трудностей. Да, правда... Тем не менее нельзя умалять роли такого «заклятья» в упорстве, с которым двоечник погрязает все глубже и глубже в своей якобы тупости. И так было всегда и везде.

Заклятье... Однажды я велел своим первоклассникам описать преподавателя, придумывающего темы для выпускного экзамена. Это было письменное задание: «Опишите преподавателя, который придумывает темы для выпускного экзамена по французскому языку». Они были уже не маленькие, имели время подумать, работу требовалось сдать через неделю; они могли сообразить, что одного преподавателя явно не хватило бы для подготовки

всех тем по всем разделам для всей страны, что это делается, очевидно, целой группой людей, что обязанности распределены, что содержание тем в зависимости от различных школьных программ обсуждается комиссией и всё такое прочее... И однако все, без исключения, описали мне некоего бородатого старца, одинокого всезнающего мудреца, сбрасывающего на Францию с высоты Олимпа знаний экзаменационные темы — словно божественные загадки. Придумывая это задание, я хотел понять, как они представляют себе Руководящие Органы, и таким образом уяснить природу их неуверенности в себе. Цель была достигнута. Мы тут же раздобыли материалы прежних выпускных экзаменов, переписали темы сочинений прошлых лет, препарировали их, изучили их строение, обнаружили, что раскрыть предлагалось не больше четырех-пяти вопросов, и те были сформулированы всего двумя-тремя способами. (В сущности, это не намного сложнее рецепта приготовления утки с апельсинами и его вариантов: нет утки — возьмите курицу, нет апельсинов — возьмите репу; если нет ни утки, ни курицы, возьмите говядину и морковь. Неизменным остается только соус: «Подкрепите ваши рассуждения цитатами в соответствии с вашим культурным уровнем».) Поднаторев в структурном анализе, в следующий раз они получили задание придумать тему сочинения.

— А отметки будут, мсье?

(Сколько раз я слышал этот вопрос!)

— Конечно. Каждый труд должен быть оплачен.

Во здо рово! За одну только тему отметка, как за целое сочинение! Во повезло! Они потирали руки, предвкушая уже «облегченные» выходные. Я тоже не имел повода беспокоиться: они не будут выполнять задание левой ногой, они обещали серьезно всё продумать, в лучшем виде, тема, структура и всё, всё, всё — заматано, мсье! (Кроме всего прочего, их прельщала возможность занять на время место Бога Отца.)

Справились они неплохо. Придумали темы сочинений, исходя из того, что изучили уже по программе, и из того, что витало в воздухе. Я вполне мог бы порекомендовать их на работу в министерство. Один из них, вернее, одна — это была девочка — заметила, что в формулировке официальных тем тоже заключается своего рода «заклятье»:

— «Подкрепите ваши рассуждения цитатами в соответствии с вашим культурным уровнем». Какие цитаты во время экзамена, мсье? Откуда их взять? Из головы? Но ведь не все же учат тексты наизусть, как мы! А «культурный уровень»? Они хотят, чтобы мы рассказали о наших любимых певцах? Или о комиксах? Странные требования, правда?

— Не странные, а идеальные.

К следующей неделе им оставалось лишь развить тему, которую они сами и придумали. Я не говорю, что они сделали это на «отлично», но поручусь, что на совесть; я получил сочинения, в которых гораздо меньше чувствовалось действие «заклятья», а мои первоклассники — отметки, показывающие, что они гораздо лучше разбираются теперь в требованиях, предъявляемых на выпускных экзаменах.

18

— А отметка будет, мсье?

Конечно, отметки — это вопрос.

Животрепещущий вопрос — проставление отметок — в борьбе с «заклятьем», а заодно и с абсурдом.

Какой бы предмет ни преподавал учитель, он быстро обнаруживает, что на заданный вопрос учащийся выдает один из трех вариантов ответа: правильный, неправильный, абсурдный. Я и сам в школьные годы довольно много злоупотреблял абсурдом. «Дробь надо свести к общему знаменателю!» или, позже: «Синус a на синус b , синус сокращаем, получается a на b !» Одно из главных недоразумений моих школьных лет состояло, несомненно, в том, что такие абсурдные ответы учителя оценивали как неправильные. Я мог отвечать все, что угодно, отметка мне была гарантирована! Обычно «ноль». Я слишком рано

понял это. И еще то, что получить «нуль» — лучший способ добиться, чтобы тебя оставили в покое. Хотя бы на время.

Итак, непереносимое условие для снятия «заклятья» с двоечника — ни в коем случае не оценивать его ответ, если этот ответ абсурден.

Во время первых наших «сеансов» по работе над ошибками те из моих «особых», кто сроднился с «нулем», не скупилась на абсурдные ответы.

Например, мой друг Сами из четвертого класса.

— Сами, какой первый спрягаемый глагол в этой фразе?

— «Сначала», мсье, первый спрягаемый глагол — «сначала».

— Откуда ты взял, что «сначала» — это глагол?

— Он оканчивается на «-ла»!

— Ну и что это будет в неопределенной форме?

— ...?

— Ну, давай! Как там получается? Первое спряжение. «Сначать»? Я сначала, ты сначала, он сначала, она сначала?

— ...

Абсурдный ответ отличается от неправильного тем, что за ним не стоит ни малейшей попытки рассуждения. Чаще всего он выдается автоматически и относится к области простейших рефлексов. Ученик не совершает ошибки, он отвечает невесть что, основываясь на все равно каком признаке (здесь — окончание «-ла»). И откликается он не на поставленный вопрос, а на сам факт постановки вопроса. От него ждут реакции? Вот, пожалуйста, ответ. Правильный, неправильный, абсурдный — неважно. Впрочем, с первых дней в школе он думал, что правила игры в этом и заключаются: отвечать, и всё, он вскакивал со стула, тянул руку, дрожа от нетерпения: «Я! Я! Я знаю!» (Я тут! Я есть! Я существую!) — и отвечал все равно что. Но мы быстро приспосабливаемся. Мы понимаем, что учитель ждет от нас правильного ответа. И вдруг оказывается, что у нас такого нет в запасе. И неправильного тоже. Вообще никакого. Мы просто не знаем, что тут можно ответить. Мы и вопроса-то самого не поняли. Но разве можно признаться в этом учителю? Или промолчать? Нет. Вот мы и отвечаем невесть что. По возможности с наивным видом. Что, мимо, мсье? Поверьте, мне очень жаль. Я попытался, у меня не вышло, вот, ставьте мне «нуль», и останемся друзьями. Абсурдный ответ есть дипломатичное признание в невежестве, которое, несмотря ни на что, старается сохранить добрые отношения. Конечно, такой ответ может выражать и открытый протест: ну, он меня достал, этот препод, чего он прицепился? Я что, его спрашиваю о чем-то?

В любом случае, ставить оценку за абсурдный ответ, например при проверке письменной работы, — значит оценить невесть что, а следовательно, пойти на совершенно бессмысленный педагогический акт. Здесь и ученик, и учитель обнаруживают одно и то же более или менее осознанное желание — символически отделаться друг от друга. Отвечая невесть что на заданный учителем вопрос, я больше не вижу в нем учителя, он становится для меня просто взрослым, и своим абсурдным ответом я хочу либо угодить ему, либо отшить его. Принимая же абсурдные ответы ученика за неправильные, я перестаю видеть в нем учащегося, он становится для меня неким субъектом вне закона, обреченным на пожизненное сидение в «нулях». Однако, поступая так, я и себя аннулирую как учителя; перед лицом этой девочки или этого мальчика, в которых я перестаю видеть учеников, моя педагогическая деятельность прекращается. Выставляя им отметки в табель, я всегда смогу аргументировать свое решение отсутствием элементарных знаний. Разве учащийся, принимающий наречие «сначала» за глагол прошедшего времени, не лишен таких знаний? Несомненно. Но, может быть, учителю, принимающему явно абсурдный ответ за неверный, лучше было бы увлечься азартными играми? По крайней мере, тогда он рисковал бы только своими деньгами, а не будущим учеников.

Потому что двоечнику сподручно сидеть в «нулях» (так он считает). Это крепость, из которой его никто не выбьет. И он укрепляет ее, нагромождая абсурд, украшает разными

объяснениями, меняющимися в зависимости от его возраста, настроения, среды обитания и темперамента: «Я слишком глупый», «У меня ничего никогда не получится», «Препод не может меня понять», «Ненавижу», «Достали» и т. д.; проблему обучения он переносит на зыбкую почву личных отношений, где все становится следствием предвзятости. Точно так же поступает преподаватель, считающий, что ученик делает это назло. Потому что увидеть в абсурдном ответе разрушительное действие «заклятья» учителю зачастую мешает ощущение, будто ученик над ним издевается.

И тогда учитель замыкается в своем «это»: «С этим у меня ничего не получится».

Ни один учитель не гарантирован от такого рода неудач. У меня самого остались от них глубокие шрамы. Это мои призраки — расплывчатые лица учеников, которых я не смог вытащить из «этого» и которые обрекли меня на моё «ничего»: «На сей раз я действительно ничего не могу поделать».

19

— Ну вот, наконец-то!

— Что — наконец-то? — Знаю я этот голос. Он таится во мне с первых строк этой книги. Сидит в засаде, сторожит. Ждет, когда я дам слабину. Это двоечник, которым я был когда-то. Всегда начеку. Смотрит на мою нынешнюю учительскую деятельность еще более критично, чем я сегодняшней. Никак мне от него не отвязаться. Мы и состарились вместе.

— Наконец-то — что?

— Наконец-то мы добрались до твоего личного «это»! Твоего учительского «это». До области твоей некомпетентности. Потому что до сих пор, почитать тебя, так ты был просто безупречным — скажи пожалуйста! И безграмотных-то он всех грамоте научил, и великой литературой-то он всех напичкал, и всех-то придурков он умниками сделал! Ни разу не обломился, что ли?

— ...

— Что, неужто ни разу не было такого: с этим парнем мне не справиться?

Ах ты мстительный тупица! Вылез из глубин подсознания, чтобы будить моих призраков? И ведь добился своего! Вот они. Сразу три лица. Три лица на задних партах, выпускной класс. Им надо нагнать несколько баллов к выпускному по французскому, но они всё еще хранят полную непроницаемость, когда я рассказываю про Камю и его «Постороннего»⁴⁰, которого им предстоит анализировать. Они не пропустили ни одного урока, но всегда отсутствуют. Трое пунктуальных «посторонних», от которых я не сумел добиться ни малейшего проблеска интереса и чье молчание заставило меня свести уроки к однообразным лекциям. Три брата Мерсо... Они стали для меня чем-то вроде наваждения. Остального класса было недостаточно, чтобы заслонить их.

— И всё?

— И это всё? Только эти трое?

Нет, еще Мишель, из второго класса, семнадцать с гаком, откуда его только не выгоняли, к нам приняли по моей рекомендации, в рекордно короткий срок он перевернул вверх дном всю школу, устроил мне сцену («Я же вас ни о чем не спрашивал... твою мать!»), а потом исчез, не знаю в какой жизни.

— Хочешь еще? Банда малолетних воришек, которые работали в супермаркетах, несмотря на мои уроки нравственности. Подходит?

— Скажем, на словах это выглядит пригляднее.

— Пошел ты! Знаю, знаю, любишь поучать всех вокруг, тупица, нуль несчастный! Если бы я тебя слушал, я бы никому ничего не преподавал, а встал бы как-нибудь рано утречком и отправился прямиком на утес Ля-Год.

⁴⁰ «Посторонний» — роман (1942) французского писателя-экзистенциалиста Альбера Камю (1913–1960).

Хихикает:

— Ну и что, все равно я всегда тут, рядом с тобой. Двоечник-двоечник, а так-то вернее...

Конец разговора. До следующего раза. Он затихает где-то внутри меня, оставляя после себя утрызения совести за несколько наспех приготовленных уроков, за несколько пачек проверенных работ, отданных с опозданием, несмотря на обещания...

Наше учительское «это»... Чулан, где мы прячем нашу внезапную усталость, где определяем меру наших неудач. Мерзкая тюрьма. Мы возвращаемся туда снова и снова, обычно больше озабоченные поиском виновных, чем правильных решений.

20

Да уж, если послушать гудение нашего педагогического улья, то выходит, что, едва впад в отчаяние, мы сразу начинаем искать виноватого. Впрочем, народное образование, кажется, так именно и устроено, чтобы каждый мог с легкостью найти своего козла отпущения.

«Что же их в детском саду не научили себя вести?» — задается вопросом учитель младших классов, наблюдая, как его малышня крутится и вертится, словно шарики механического бильярда.

«Что они там думают, в начальной школе?» — ворчит преподаватель коллежа, принимая под свою опеку малограмотных шестиклассников.

«Кто-нибудь может мне сказать, чем они занимались до третьего класса?» — восклицает преподаватель лицея, столкнувшись с твердым намерением своих второклассников обходиться без словаря.

«Они что, правда учились в лицее?» — недоумевает преподаватель университета, потроша первую пачку письменных работ.

— Объясните мне, чему вас там учат, в университетах? — мечет грома и молнии президент компании перед молодыми специалистами.

— Университет готовит именно тех, кто нужен вашей системе, — отвечает ему далеко не глупый молодой специалист, — необразованных рабов и слепых потребителей! Высшая школа производит для вас бригадиров — ой, простите, менеджеров, — а ваши акционеры крутят ручку станка, который печатает вам денежки.

«Полный упадок семьи», — причитает Министерство национального образования. «Школа теперь не та, что раньше», — вздыхает семья.

Прибавьте к этому внутренние распри, без которых не обходится ни в одном уважающем себя учреждении. Например, вечную битву между ретроградами и прогрессистами.

«Позор педагогам, оглуляющим своих учеников!» — вопят «республиканцы», хвастуны и демагоги. «Долой республиканцев и их элитарность!» — скандируют в ответ сторонники демократического развития.

«Профсоюзы блокируют работу!» — возмущаются министерские чиновники. «Бдительность, бдительность и только бдительность!» — отвечают им профсоюзы.

«Столько безграмотных в шестом классе! В наше время такого не было!» — сокрушается старая гвардия. «В ваше время в коллеж попадали только государственные советники в коротких штанишках, — подтрунивают над ними. — Это в ваши-то старые добрые времена?!»

«Весь в мать, лоботряс!» — грохочет разгневанный отец. «Если бы ты был с ним поостроже, он бы не докатился до такого», — возражает оскорбленная мать.

«Как можно учиться, когда в семье происходит такое?» — жалуется депрессивный подросток понимающему учителю.

И так далее, вплоть до того самого двоечника, который, доведя своими систематическими издевательствами учителя до больницы, куда тот угодил с нервным

расстройством, первый с блаженным видом заявляет: «Мсье Такому-то не хватало авторитета».

А если всего этого мало, то у нас всегда остается в запасе выход: увидеть в самом себе того, кто носит шляпу нашей некомпетентности. «Ничего у меня из „этого“ не выйдет, вот такой вот я», — писал двоечник, которым я был когда-то, своей маме, прося ее отправить в дебри Африки мистера Хайда, мешавшего мне быть добрым доктором Джекилом.

21

А теперь давайте отдохнем и помечтаем. Вот учительница. Она молода, прямолинейна, не «отформатирована», не раздавлена грузом фатализма, она полностью «присутствует» в классе, где сидят все ее ученики, их родители, коллеги и работодатели Франции и Наварры, а также десять последних министров образования — для них специально поставили дополнительные стулья.

— Ну что, мы действительно ничего не можем с этим поделать? — спрашивает молодая учительница.

Класс не отвечает.

— Я правильно поняла? Мы ничего не можем с этим поделать?

Молчание.

Тогда учительница протягивает мел последнему министру образования и говорит:

— Напиши нам на доске: «Мы ничего не можем с этим поделать».

— Я этого не говорил, — протестует министр. — Это всё чиновники министерства. Первое, что они говорят каждому вновь прибывшему: «Во всяком случае, господин министр, мы ничего не можем с этим поделать!» А я, я ведь предлагал провести столько реформ! Разве меня можно подозревать в том, что я говорил такое? Мне мешают развернуться, это все инерция, нежелание перемен. Разве я виноват?

— Неважно, кто это сказал, — с улыбкой отвечает учительница. — Напиши на доске: «Мы ничего не можем с этим поделать».

Мы ничего не можем поделать.

— Ты пропустил «с этим». Добавь. Это важно.

Мы ничего не можем с этим поделать.

— Отлично. Ну, и что же такое, по-твоему, «это»?

— Не знаю.

— Ну что же, друзья мои, нам совершенно необходимо понять, что же все-таки означает «это», иначе нам всем крышка.

IV. ТЫ ДЕЛАЕШЬ ЭТО НАЗЛО

Я не нарочно...

1

Веркор, прошлое лето. Мы с В. выпиваем на террасе «Качалки», расслабленно наблюдая, как возвращается с пастбища стадо Жозетт. В., который, как и я, достиг пенсионного возраста, спрашивает, что я сейчас пишу. Я говорю.

— А, плохой ученик! Ну так я тебе столько могу порассказать об этом! Точно говорю, потому что сам звезд с неба не хватал, в школе-то.

Короткое молчание.

— И бросил ее, как только смог. О-хо-хо!

Жозетт едет за своими коровами на велосипеде. По бокам ее трусят два колли, быстро переставляя лапы в белоснежных носочках.

— Дурак я был, — продолжает В. — А что ты хочешь? В этом возрасте слушают только голос крови.

Короткое молчание.

— Потому как в ней есть своя польза — в школе-то. Если бы я остался учиться, а не пошел вкалывать за гроши, я рулил бы сегодня какой-нибудь транснациональной корпорацией! Здорово, Жозетт!

— ...

— Я хочу сказать, рулил бы, пока она не свалилась бы в пропасть. А когда я отправил бы их всех на самое дно, то сам отправился бы на покой с хааарррошим чеком и благодарностью нашего президента в придачу.

Стадо прошло.

— Вместо всего вот этого...

В. задумывается. Его, похоже, так и тянет на автобиографический экскурс, но он передумывает:

— В общем, я не нарочно...

Он задерживается ненадолго на констатации этого факта.

— Кроме шуток. Они думали, что я назло, но это неправда! Я был как щенок — бежал себе вдогонку за собственным носом.

2

Дело в том, что, пожалуй, наиболее часто плохой ученик слышит от родителей и учителей неизбежное «Ты это нарочно делаешь!». Оно выливается либо в прямое обвинение («Не болтай глупостей, ты делаешь это нарочно!»), либо в раздраженный возглас после энного разбирательства («Господи, но это просто невозможно, ты это нарочно делаешь!»), либо в жалобы, адресованные третьему лицу и подслушанные подозреваемым, например под дверью родителей («Говорю тебе, он все это делает нарочно!»). Сколько раз я выслушивал этот упрек, а позже сам обрушивался с ним, тыча указательным пальцем в нерадивого ученика или собственную дочь, когда та, учась читать, начинала мямлить или запинаться. И так продолжалось до тех пор, пока я не задумался: а что же такое я говорю?

Ты это делаешь нарочно.

В любом из возможных случаев смысловой центр фразы — наречие «нарочно». На него падает логическое ударение. Вопреки всем правилам грамматики оно напрямую связано с местоимением «ты». Ты — нарочно! Глагол «делать» несет второстепенную функцию, а указательное местоимение «это» — вообще никакой. Главное, что в ушах обвиняемого гремит именно это «ты нарочно», вызывая ассоциации с наставленным на него указательным пальцем.

Ты виновен,

ты один,

и к тому же *по злему умыслу!*

Таков смысл этой фразы.

«Ты это сделал нарочно», произносимое взрослыми, обычно выступает в паре с «Я не нарочно», выдаваемым детьми сразу по совершении очередной глупости.

Сказанное со страстью, но без особых иллюзий, «Я не нарочно» почти автоматически влечет за собой один из следующих ответов: «Надеюсь!», «И то ладно!», «Этого только не хватало!»

Сему рефлексивному диалогу уже тысячи лет, и всем взрослым мира их ответ кажется весьма остроумным, по крайней мере на первый раз.

Во фразе «Я не нарочно» наречие «нарочно» теряет свою силу, глагол «делать» вообще отсутствует, так же как и местоимение «это» — они лишь подразумеваются. Таким образом, главное, что провинившийся стремится донести до наших ушей, — это местоимение «я» и отрицательная частица «не».

Итак, в ответ на взрослое «ты нарочно» раздается детское «я не».

Ни сказуемого, ни дополнения, выраженного местоимением, — ничего, только это удрученное «я» и «не», которые пытаются выразить: в этом деле я за себя не отвечаю.

— Ну, ясно: ты это сделал нарочно!

— Нет, я не нарочно!

— Нарочно, нарочно!

— Нет!

Глухо, мяч уходит за боковую линию, разговор откладывается. Мы расстаемся без результата и без надежды на результат, одни — убежденные в том, что их не слушаются, другие — в том, что их не слушают.

И здесь тоже определенную пользу может принести грамматика.

Если, например, мы попробуем рассмотреть незаметное словечко, позабытое на поле битвы, «это», которое потихоньку дергало за все ниточки нашего диалога.

Ну-ка, небольшое грамматическое упражнение, по старинке, на пробу, вроде тех, что я делал со своими «особыми».

— Кто мне скажет, что такое «это» в предложении «Ты делаешь это нарочно»?

— Я, я! Прилагательное, мсье!

— Прилагательное? Почему?

— Ну например, «это окно». Окно какое? Это. Отвечает на вопрос «какое». Прилагательное!

Победным тоном. Показали учителю, что тоже не лыком шиты...

Отвечает на вопрос «какое», значит, прилагательное.

— Вот как? Прилагательное, говорите? А где тут существительное, к которому оно относится?

Задумались.

Существительного нет.

Замешательство.

— Так что же все-таки такое «это»?

— ...

— ...

— Местоимение, мсье!

— Bravo. А какое местоимение?

— Указательное!

Хорошо. Отлично. Правильно. А теперь оставим класс и вернемся к нашему разговору. Проанализируем указательное местоимение между нами, взрослыми. Но осторожно! Опасные они, эти местоимения, как противопехотные мины, что прячутся глубоко под очевидным смыслом и того и гляди взорвутся, если их вовремя не обезвредить. Например, «это»... Сколько раз, произнося обвинение «Ты делаешь это нарочно», мы задавались вопросом, что же означает в данном случае указательное местоимение «это»? Нарочно делаешь что? Последнюю из совершенных глупостей? Нет, по тону, каким мы бросили обвинение (тон-то ведь тоже важен!), ясно можно понять, что провинившийся делает это нарочно всегда, каждый раз и последняя совершенная им глупость лишь подтверждает его упорство. Так что же — нарочно?

Не слушаешься?

Не занимаешься?

Не стараешься?

Не понимаешь?

Даже не пытаешься понять?

Перечишь мне?

Злишь меня?

Раздражаешь учителей?
Приводишь в отчаяние родителей?
Потакаешь своим дурным привычкам?
Губишь свое будущее?
Плюешь на всех?
Что, тебе правда на всех наплевать? Издеваешься?
Хорошо, допустим, все это правильно.

Тогда встает другой вопрос — о наречии. Почему «нарочно»? С какой целью? Зачем ему это делать? Раз он делает это «нарочно», значит, у него должна быть какая-то цель.

Нарочно — зачем?

Ради собственного удовольствия? Наслаждаясь моментом? А как же следующий момент, неизбежный момент, который он должен будет провести со мной один на один, отвратительная четверть часа, в течение которой я буду на него орать? Может, он так вот и хочет жить, тихо и мирно, лениться помаленьку, не обращая внимания на ругань в свой адрес? Этаким гедонизм? Нет, он прекрасно знает, что за счастье ничегонеделанья приходится платить презрительными взглядами, всеобщим осуждением, которые порождают недовольство самим собой. Тогда что? Почему он все-таки делает это «нарочно»?

Чтобы завоевать уважение других двоечников? Потому что старание есть предательство по отношению к ним? Он добровольно играет за плохих против хороших? За молодых против старых? Это что, такой способ социализации?

Если угодно. В любом случае, последний тезис очень популярен нынче — объединение трудных подростков в группировки, стремление плохих учеников укрыться в некоем болоте, кишасшем всякой мразью. Такое объяснение удобно еще и потому, что имеет под собой некую социологическую основу, такой феномен существует, вне всякого сомнения. Но оно напрочь отбрасывает личность, всегда уникальную, мальчишки, который независимо от того, существует или нет феномен мальчишеских банд, в тот или иной момент жизни остается один на один со своими неудачами, со своим будущим, а по вечерам, перед тем как лечь спать, — с самим собой. Давайте взглянем на него. Рассмотрим его как следует. Кто решится утверждать, что ему сейчас хорошо? Кто сможет заподозрить его в том, что он *это* делает нарочно?

Ты делаешь это нарочно...

По правде говоря, ни одно из приведенных объяснений нельзя признать приемлемым на сто процентов. Все они удовлетворительны постольку поскольку, но...

А вот вам гипотеза: что, если вопреки всем правилам грамматики местоимение «это» обозначает еще и некий объект, существующий вне фразы? Нас самих, например... Наш светлый образ, замутненный в наших собственных глазах. Наш образ, которому так не помешало бы хорошее зеркало.

Одно «это», обвиняющее другое — в данном случае этого паршивца — в том, что оно отражает образ некоего взрослого, беспомощного и встревоженного, столкнувшегося с каким-то непонятным препятствием. Однако видит бог, насколько чисты и полезны принципы, которые я хочу внушить этому ребенку! И насколько необходимы знания, которые я даю этому ученику!

Одиночеству ребенка вторит мое собственное одиночество взрослого.

Ты делаешь это нарочно.

Когда же речь идет о целом классе, когда три десятка учеников начинают делать это нарочно, я, учитель, испытываю острое ощущение того, что меня линчуют на культурном уровне. А если это «это» касается целого поколения — «в наше время такое было немыслимо!», — если несколько поколений подряд будут делать это нарочно, значит, мы последние представители исчезающего вида, последние из тех, кто помнит времена, когда молодежь (мы сами в ту пору) была нам понятна... И мы чувствуем себя такими одинокими в этой старой бедной жизни, но такими пронзительными (конечно же!), такими бдительными (еще бы!), такими компетентными (а то как же!), как когда мы были

молодыми, мы горстка свидетелей цивилизованных времен, продолжающих правильно думать, абсолютно оторванных от того, чем стала вопреки нашему желанию реальная жизнь.

Оторванных...

Потому что ощущение оторванности, непричастности присуще не только популяциям, выброшенным за пределы энной окружной дороги, — оно угрожает и нам, правящему большинству, как только мы перестаем понимать хотя бы частицу того, что нас окружает, как только аромат необычного становится губительным для духа времени. В какое смятение мы приходим тогда! И как нам хочется сразу заклеить виновных!

Ты это нарочно делаешь!

Такое маленькое слово и такое огромное одиночество!

3

Небольшое отступление по поводу чувства оторванности от жизни у обеспокоенного большинства. Когда я был мальчишкой, нас было по крайней мере двое, тех, кто делал это нарочно, — Пабло Пикассо и я. Гений и двоечник. Двоечник ничего не делал, а гений чего только не делал — но оба нарочно. Это наша единственная точка соприкосновения.

Часто за воскресным столом взрослые прохаживались по поводу Пикассо: «Кошмар! Живопись для снобов! Невесть что выдается за великое искусство...»

Невзирая на эти толки, Пикассо заполнял собой все вокруг, словно водоросль: рисунок, живопись, гравюра, керамика, скульптура, театральные декорации, даже литература — все шло на «ура».

«Он, похоже, работает без передышки!»

Такая вот плодovitая водоросль, явившаяся из некоего чудовищного океана засорять собой бухты тихого искусства.

«Это просто оскорбление! Издевательство какое-то! Никогда не приму этого!»

Дошло до того, что однажды мне пришлось даже встать на защиту Пикассо. Я спросил даму, которая только что в энный раз повторила это обвинение, неужели она действительно считает, что сегодня утром Пикассо проснулся с мыслью быстренько сляпать новую картинку с единственной целью — поиздеваться над мадам Женеvьевой Пеллегрю.

Все дело в том, что эти славные люди начинали испытывать чувство оторванности; они постепенно оказывались в одиночестве. Они приписывали художнику ужасающую способность поглощения всего и вся. Этот шарлатан являл собой воплощение нового мира, некоего угрожающего завтра, в котором орды Пикассо превратят всех Пеллегрю мира в одного большого дурака.

«Только не меня! Со мной он ничего не сделает!»

Женеvьева Пеллегрю не знала, что на самом деле желудок — это она, что это она переварит Пабло Пикассо, как и все остальное, медленно, но верно, так что сорок лет спустя ее внуки будут развезжать в одной из самых безобразных семейных машин, когда-либо придуманных человечеством, этаким гигантском суппозитории, которому новые Пеллегрю дадут имя художника и который в одно прекрасное воскресное утро привезет их умерить культурный зуд в Музей Пикассо.

4

Свирепая наивность правящего большинства... Ах эти носители норм — каких бы то ни было: культурных, семейных, предпринимательских, политических, религиозных, клановых, клубных, бандитских, квартальных, норм здоровья, норм мышечных и мозговых... Как они сжимаются, едва почуяв нечто непонятное, эти стражи нормы, как начинают сопротивляться — можно подумать, что они противостоят в одиночку мировому заговору! Ох уж этот страх перед всем, что не укладывается в норму... А как свирепеет сильный, разыгрывающий из себя жертву! Богатый — когда бедность поселяется у него под носом!

Образцовая семья — при виде «разведенки», разрушительницы семейного очага! Коренной житель — почуяв представителя какой-либо диаспоры! Верующий — обличая безбожника! Дипломированный — при взгляде на чудовищного кретина! Дурак, гордящийся тем, что родился где-то там! Это относится и к маленькому главарю жалкой банды где-нибудь на окраине, с подозрением присматривающемуся к врагу на той стороне улицы... Как они становятся опасны, носители правил, по отношению к тем, кто с правилами не знаком!

Даже дети должны их остерегаться.

5

Ни разу мне не пришлось ощутить его глубже — этот мерзкий страх того, кто чувствует себя выброшенным из жизни, перед теми, кто действительно выброшен из нее, — чем в одно одинокое утро.

Я не встаю. Минна где-то на юго-западе. У нее встреча с учащимися технического лица в районе Тулузы. С читателями то есть. Значит, сегодня никакой любовной разминки с неизменным кофе. Надо бы сразу сесть за книгу, но нет, я валяюсь в постели, уставившись в пространство, точно как когда-то сидел перед домашним заданием («Не мешайте малышу, он занимается!»). Наконец я включаю радио. Свой любимый канал. Начинается одна из моих любимых передач. Раз в неделю в редакции собираются для беседы патентованные умы, говорящие столь редким в наше время тоном людей, которым нечем торговать. Они степенно обмениваются мыслями по поводу написанных эссе, рассудительно ссылаясь на прочитанные. Именно то, что мне надо, в это утро сплошного безделья: кто-то будет думать за меня. Только никому не говорите: я буду потреблять эти умные мысли так же лениво, как читал бы первую попавшуюся газетенку. Замечательно! При звуках музыкальной заставки у меня уже текут слюнки, и сразу после представления участников я начинаю скользить по «американским горкам» фраз, мягко взмывая на вершины аргументации, чтобы потом снова оказаться на земле — ощущая себя в полной безопасности благодаря приятности голосов, гибкости суждений, основательности доводов, серьезности тона, точности анализа, безупречному соусу, которым ведущий поливает, связывая их воедино, выступления присутствующих, избегая возможных споров и пространно развивая собственные мысли... Мне всегда нравилась эта передача, кроме всего прочего, своей элегантностью: реальная действительность там старательно полируется, чтобы предстать передо мной в более удобоваримом, а значит, и утешительном виде. Однако в это утро разговор заходит об «уличной» молодежи. В какой-то момент три голоса начинают обсуждать некую кинокартину. Я наостряю уши. Фильм, который, похоже, произвел тяжелое впечатление на ведущего, — о предместьях. Нет, о пьесе Мариво⁴¹. Нет, о каком-то педагогическом проекте. Да, точно, это фильм о лицеистах из предместья, которые ставят вместе с учителем французского пьесу Мариво. И называется он «Увертка». Это не документальная лента. Вернее, как бы документальная, но снятая по сценарию. Она не показывает реальной действительности, но стремится дать о ней наиболее верное представление. Я слушаю с особым вниманием еще и потому, что видел фильм, о котором идет речь. Я не слишком жаждал смотреть его: еще одна история про школу, про предместья... Но тем не менее посмотрел, побуждаемый, конечно же, таким атавистическим любопытством. (Загробный глас дяди Жюля: «Иди смотри „Увертку“, племянник, и без разговоров!») И это было совсем неплохо: чтобы провести своих учеников путями прекраснейшей литературы, учитель избирает театр. Класс ставит «Игру любви и случая» Мариво. Мы видим, как мальчишки и девчонки отдают этому занятию всю свою энергию, все свое внимание, чему не мешают ни их собственные любовные истории, ни семейные или внутриквартальные проблемы, ни

⁴¹ *Мариво, Пьер Карле де Шамблэн де* (1688–1763) — французский писатель. Автор многочисленных комедий, отличающихся легкостью и тонким лиризмом. Один из создателей жанра реалистически-психологического романа во французской литературе.

подростковая вражда, ни мелкие делишки, ни трудности с языком, ни даже дурная слава, закрепившаяся за театром вообще, — шутовское занятие. Я вышел из кино, утвердившись в мысли, которая всегда посещает меня, когда я бываю в окраинных школах: дядя Жюль не умер! И сегодня существуют еще такие дяди Жюли и тети Жюли, которые, несмотря на невероятную трудность подобных спасательных операций, отыскивают детей, где бы те ни находились, чтобы поднять их на собственную высоту крутыми тропами французского языка — в данном случае языка восемнадцатого века.

Однако у ведущего создалось совсем другое чувство. Никакого оптимизма. Ни малейшего энтузиазма. Он вышел из кинотеатра в ужасе от языка, на котором начинают изъясняться эти молодые люди, как только расстаются с Мариво. Боже, что за тон! Что за грубость! А словарный запас? Сплошное убожество! Какие-то отрывки! А что за мерзкие, вульгарные ругательства! Как он мучился, пока смотрел фильм! Как ему было больно за родной язык! Как страшно, ведь над французским языком нависла такая угроза! Пошатнулись сами его основы! Нет, он обречен, обречен безвозвратно — этой вот речевой злобой! Что же станет с ним?! Во что превратят его орды беснующихся двоечников?

К сожалению, я не записал сего блестящего пассажа, но основное передал: о подростках говорил не взрослый мужчина — говорил его страх. Впрочем, собеседники ведущего казались несколько удивленными. Слушатель так и видел сочувственные жесты, которыми они пытались успокоить говорящего, но тщетно: страх был сильнее.

Еще немного — и волосы встали бы дыбом у меня на голове. Лежа в одиночестве в своей постели, я уже было подумал: Идиот! Как ты мог отпустить жену к этим дикарям? Они же сожрут ее живьем! Но тут мне захотелось взять бедняжку ведущего на руки и убаюкать, успокоить. Ну-ну-ну, маленький, тихо-тихо, успокойся! Ты же знаешь: у бедняка громкий голос, это давно известно, это неизменная величина, и исторически, и географически. Так было всегда и везде. И чем больше бедняков вокруг, тем громче они кричат — чтобы быть услышанными, понимаешь? Стенки в их лачугах тонкие. И ругаются они много, это правда, но без злобы, так что не бойся. И чем южнее живет беднота, тем больше она употребляет непристойных ругательств, поминая при этом все высшие силы. И это понятно. Ведь ты же не встретился в нужный момент на их пути и не сказал, что это плохо. погоди! Да вот и в моем детстве бедняки из родной деревни все время говорили «*Porca madonna!*» — «Мадонна сука-блядь!»⁴². Они были выходцами с юга Италии. Но они при этом ничего не имели ни против блядей в субботу вечером, ни против Мадонны в воскресенье утром; они просто так говорили, ударив себе молотком по пальцу, вот и всё! Трах по пальцу: «Мадонна сука-блядь!» — такой вот оксюморончик, сочетание несочетаемого. А ты разве не знал, что бедняки балуются оксюморонами? Так вот знай: балуются. В этом мы с ними похожи. Мы с ручкой в руке, они — с молотком, и у тех и у других получается оксюморон! Обнадеживает, правда? Ты же так боишься, что они своим жутким просторечием погубят наш утонченный язык, видишь, все не так страшно. Да, чуть не забыл сказать: не бойся ты просторечия. Язык сегодняшнего бедняка — это то же самое, что язык бедняка вчерашнего, ни больше ни меньше! Бедняк всегда говорит на своем языке. И знаешь почему? Чтобы показать богатому, будто у него, бедняка, есть что-то свое, будто он что-то прячет! На самом-то деле ничего такого у него нет, нечего ему прятать, слишком уж он беден, так, разный скарб тут и там, мелочь, но ему-то хочется, чтобы все думали, будто у него есть свой мир, который он прячет от нас, целая вселенная, вход в которую для нас заказан, — такая огромная, что для нее потребен особый язык. Но никакого своего мира у него нет, и языка тоже. Так, несколько понятных лишь своим словечек, чтобы согреть душу, чтобы замаскировать отчаяние. Просторечие — это ведь не язык, просто набор слов, потому что грамматика-то у них, у бедных, наша, только упрощенная, конечно: подлежащее, сказуемое, дополнение, но все равно наша, твоя, так что успокойся, твоя французская грамматика, наша общая французская

⁴² Расхожее итальянское ругательство. *Porca* — букв. свинья, свиноматка; *madonna* — Мадонна, Дева Мария.

грамматика, беднякам нужна наша грамматика, чтобы понимать друг друга. Остается, конечно, лексика — слова, которыми изъясняются ребята из предместий, лексика, которую ты считаешь крайне вульгарной и бедной (и это неудивительно, учитывая высоту, с которой ты на нее взираешь), но и тут не стоит беспокоиться: она так бедна, эта лексика бедняков, что половина слов очень скоро будет сметена ветром истории: былинки, былинки, слишком мало в них мысли, чтобы они имели хоть какой-то вес... Почти ни одного не найдешь на страницах словаря: «клево», «кайф», «шиза», например, — это все, что я нашел из языка современной молодежи, правда, я не слишком усердно искал, минут пятнадцать, не больше, но нашел только это: «клево», «кайф», «шиза», вот и всё, в сущности, ерунда, как видишь, три простецких словечка, которые исчезнут, как только будет перевернута страница нашей эпохи; словари гарантируют лишь чуточку вечности...

И еще пара слов напоследок, чтобы успокоить тебя окончательно: сходи на почту, открой дверь своей мэрии, спустись в метро, зайди в музей или в отдел социального страхования, и вот увидишь, увидишь: в окошках там будут сидеть мать, отец, старший брат или сестра этих подростков с жутким языком. Или сделай как я: заболей и очнись в больнице, и ты узнаешь родную речь молодого санитаря, везущего тебя на каталке в операционную: «Не бзди, братан, все путем, бушь как новенький!»

6

Самое интересное, что в окраинных школах, куда меня приглашают учителя, один из первых вопросов, который я слышу от учеников, касается грубости моего языка. Почему в моих романах столько грубых слов? (Да-да, дружище, подростки, которые тебя так пугают, обеспокоены тем же самым, что и ты: почему в языке столько грубости?) Конечно, они задают мне этот вопрос отчасти из желания угодить учителю, отчасти для того, чтобы поставить меня в неловкое положение, но еще и потому, что слово в их глазах становится грубым, только когда оно написано. Они «рвут жопу» на экзамене, они занимаются «херней» на уроках, после каждого слова добавляют «бля», но увидеть «бля», «херня» и «жопа» написанными черным по белому в книге, когда их место на стенке в сортире, — это нечто!..

Впрочем, именно тут в моем разговоре со школьниками обычно и возникает тема французского языка: начинаясь с непристойных и просторечных слов в моих романах, беседа переходит на арго — альтернативный язык, тайный, условный, на его бранные и ласкательные словечки (ведь арготизмы больше общеупотребительных слов выражают тонкости эмоциональной окраски, тона; им просто нет равных в гибкости перехода от оскорбления к ласке). Мы говорим о древних корнях арго во Франции — стране, на протяжении нескольких веков трудившейся над созданием единого языка, — о его разнообразии: криминальное арго, местное, профессиональное, арго разных социальных слоев, разных сообществ, о его ассимиляции общеупотребительным языком и о роли, которую литература — от Вийона⁴³ до наших дней — играет в этом медленном усвоении (отсюда и присутствие арготизмов в моих романах)... И так, слово за слово, мы заговариваем об истории слов: «Ведь у слов тоже есть своя история, они не выпадают у нас изо рта, как яйца из курицы! Слова развиваются, их жизнь так же непредсказуема, как и наша. Иногда в своем развитии слова становятся частью арго. Возьмите, например, бедную буренку, такую мирную, которая пасется себе на лужку. Почему-то именно коровой на протяжении веков обзывали презируемых людей: в семнадцатом веке — проститутку, в конце девятнадцатого — полицейского, а сегодня — негодяев, совершающих разные мерзости! И смотрите, такая скромная корова породила наречие, которое обозначает крайнюю меру проявления действия

⁴³ Вийон, Франсуа (1431 или 1432 — после 1463, но не позднее 1491) — последний и величайший из поэтов французского Средневековья.

или признака⁴⁴».

Во время одного из таких разговоров учительница обратилась к ученикам с вопросом:

— Может кто-нибудь привести пример общеупотребительного слова, ставшего частью вашего жаргона?

— ...

— Ну же! Слово, которое вы произносите по сто раз на дню, когда хотите поиздеваться над кем-нибудь.

— ...

— ...

— «Буффон», мадам? Это «буффон»?

— Ну, допустим, «буффон».

«Буффон» — я впервые услышал это слово в начале девяностых годов, когда, войдя однажды утром в класс, обнаружил там двух задиристых петушков, воинственно наскაკивавших друг на друга и готовых того и гляди пустить в ход кулаки. «Он обзвал меня буффоном, мсье!»

Слово, история которого начинается в Италии тринадцатого века, где так называли придворных шутов, прогремело в то утро как синоним «жалкой твари». Прошло пятнадцать лет, и сегодня это ругательство для учеников этого класса, как и для ребят из «Увертки» и вообще для молодежи их среды и их поколения, обозначает всех тех, кто не посвящен в их условный язык, иначе говоря, тех, кого во времена молодости моей мамы (которая, кстати сказать, была одной из них) называли «буржуа» («В сущности, он настоящий буржуа»).

«Буржуа»... Сколько раз оно меняло окраску, это слово! От презрения аристократа до возмущения пролетария, не говоря уже о ярости романтически настроенной молодежи, анафеме со стороны сюрреалистов, безоговорочном осуждении марксистов-ленинцев и презрении художников всех мастей — история до такой степени нашлаповала его всякими уничижительными смыслами, что ни один ребенок из буржуазной семьи не может открыто признаться в своей принадлежности к «буржуа», не испытывая при этом смутного чувства онтологического стыда.

Буржуа боится бедняка, бедняк презирает буржуа. Вчера «чернокурточники» моей юности наводили страх на «буржуа», потом явилась шпана моей молодости и стала терроризировать «буржей», сегодня мальчишки с окраин пугают «буффонов». Впрочем, как вчерашний буржуа не имел случая повстречать на своем пути «чернокурточника», так и сегодняшнему «буффону» негде пересечься с этими подростками, обреченными прозябать на далеких лестничных клетках.

Интересно, скольких мальчишек из предместий лично знал наш ведущий, напуганный подростками из «Увертки»? Сможет ли он пересчитать их по пальцам хотя бы одной руки? Неважно, ему достаточно было услышать их в фильме, послушать полминуты их музыку по радио, увидеть несколько машин, подожженных во время беспорядков на окраинах, и вот он уже охвачен священным ужасом и клеймит их как армию бездельников, которая покончит с нашей цивилизацией.

V. МАКСИМИЛИАН, ИЛИ ИДЕАЛЬНЫЙ ВИНОВНИК

Учителя забивают нам голову всякой дурью, мсье!

⁴⁴ Действительно, кроме существительного *vache* (букв. корова), употребляющегося в качестве ругательства, во французском языке имеется существительное *vacherie*, обозначающее действие, совершенное *vache* (которому соответствует русское „свинство“), а также наречие *vachement*, соответствующее русскому „чертовски“.

Бельвиль⁴⁵, улица Жюльена Лакруа, зимний вечер, уже стемнело. Я возвращаюсь домой — в зубах трубка, в руке сумка с продуктами, — мечтаю себе о чем-то, как вдруг какой-то подпирающий стену тип останавливает меня, вытянув руку, будто шлагбаум на автостоянке. Ёкнуло сердце.

— Огонька-то дай!

Вот так, ни малейшего уважения к разделяющим нас четырем десяткам лет. Длинный парень лет восемнадцати — двадцати, чернокожий, плотный, нарочито спокойный, уверенный в собственных мускулах и правоте: ему нужен огонь, и он его получит, вот и всё. Точка.

Я ставлю на землю сумку, достаю зажигалку и подношу огонек к его сигарете. Он опускает голову, втягивает щёки, вдыхая дым, и в первый раз смотрит на меня поверх пламенеющего кончика. И тут — разительная перемена в поведении. Глаза его становятся круглыми, он опускает руку, вынимает сигарету изо рта и лепечет:

— Ой, простите, мсье... — Молчит в нерешительности. — Вы, случайно, не?.. Вы пишете... Вы ведь писатель, правда?

Я мог бы подумать с легким трепетом удовольствия: «Вот он, читатель!», однако старый инстинкт подсказывает мне другое: «Ага, школьник! Учитель задал ему что-то по моему „Малоссену“». Сейчас начнет просить о помощи.

— Да, я пишу книги. А что?

Так оно и есть.

— Да вот, нам учительница велела прочитать эту, как ее... «Фея...», «Фея...»...

Ладно, он хотя бы знает, что в названии есть слово «фея».

— Там еще про Бельвиль, про старушек и...

— «Фея Карабина», да. И что же?

И тут он превращается в застенчивого малыша и, ломая пальцы, задает наконец решающий вопрос:

— Нам задали разбор текста. Вы мне не поможете? Может, подскажете чего-нибудь, пару слов?

Я поднимаю с земли сумку с продуктами.

— Ты обратил внимание, как попросил у меня огня?

Замешательство.

— Ты хотел меня напугать?

Протест:

— Нет, мсье, клянусь мамой!

— Не стоит подвергать твою маму такой опасности. Ты хотел меня напугать. (О том, что ему это почти удалось, я благообразно умалчиваю.) И не меня первого. Сколько человек ты уже остановил таким образом сегодня?

— ...

— Только вот меня ты узнал и теперь просишь помочь. А что же бывает с теми, чьих книг ты не изучаешь в школе? Что делают эти люди, когда ты преграждаешь им дорогу? Они пугаются, а ты радуешься?

— Нет, мсье, послушайте...

— А ты ведь знаешь, что такое уважение — или как там по-вашему, респект? Сам-то, наверно, по сто раз за день это слово произносишь, так ведь? Ты отнесся ко мне без уважения и хочешь, чтобы я тебе помог?

⁴⁵ Бельвиль — квартал в 20-м округе Парижа, населенный в основном выходцами из бывших французских колоний.

— ...

— Как тебя зовут?

— Макс, мсье. — И быстро добавляет: — Максимилиан!

— Так вот, Максимилиан, ты только что упустил очень хороший случай. Я живу вот здесь, смотри, совсем рядом, улица Лесажа. Видишь окна, там наверху? Если бы ты попросил у меня огня вежливо, мы бы уже были там и я помогал бы тебе сделать твоё домашнее задание. А сейчас — нет, об этом не может быть и речи.

Последняя попытка:

— Но, мсье...

— В другой раз, Максимилиан, когда ты будешь обращаться с людьми уважительно. Но не сегодня. Сегодня ты меня рассердил.

2

Я часто думаю об этой встрече с Максимилианом. Интересный опыт — и для него, и для меня. На какую-то секунду я дрогнул перед хулиганом и расправился с учеником. Он же словил кайф, напугав «буффона», а потом трясся как овечий хвост перед «статуей Виктора Гюго» (в Бельвиле, на улице Лесажа, некоторые из ребят, что выросли на моих глазах, называли меня в шутку «мсье Гюго»). И у Максимилиана, и у меня сложилось двойственное представление друг о друге: опасный хулиган или вызывающий о помощи школьник, трусливый «буффон» или писатель, который может помочь. К счастью, огонек зажигалки смешал эти представления. На секунду мы оказались хулиганом и школьником, «буффonom» и писателем; реальность несколько усложнилась. Если бы на этом все и кончилось, если бы Максимилиан не узнал меня, я вернулся бы домой с чувством стыда от того, что спасовал перед мразью, он — с восторгом, что «сделал» старого «буффона». Он стал бы хвастаться этим перед приятелями, а я мог бы посетовать на это перед микрофоном. В сущности, все свелось бы к простой ситуации: хулиган из предместий унижил порядочного гражданина, вполне в духе современных представлений о мире. К счастью, в свете зажигалки жизнь оказалась гораздо сложнее: это была встреча подростка, который многому еще должен учиться, и взрослого, который многому может научить. И вот что я скажу: если ты хочешь стать великим, как император, Максимилиан, если хочешь властвовать, пусть даже только над самим собой, не играй в эти игры — не пугай «буффона», не добавляй ни грамма правды к образу страшного хулигана, который лепят из тебя и таких, как ты, который возводят на ваших спинах трусы с микрофонами в руках.

— Да уж...

Перечитывая только что написанное, я снова слышу внутри себя тихое хихиканье.

— Да уж, хи-хи-хи...

Ну конечно, эта ирония — опять он, двоечник, которым я был когда-то.

— Надо же, как красиво! Прекрасный урок нравственности получил этот твой Максимилиан! — И, как обычно, забивает новый гвоздь: — Легкий приступ самодовольства?

— ...

— Иначе говоря, ты не помог этому школьнику...

— ...

— Потому что он был невежлив с тобой, так?

— ...

— И ты собой доволен?

— ...

— А как же твои принципы? Прекрасные принципы, изложенные выше? Вспомни: «Страх перед чтением преодолевается чтением, боязнь не понять — погружением в текст...» Как быть с этими заявлениями? Ты что, наплевал на них?

— ...

— В общем, подговнял ты в тот вечер с Максимилианом! Рассердился не в меру или,

может, испугался — с тобой ведь случается такое, ты ведь можешь и струхнуть, особенно когда устанешь. Ты ведь сам прекрасно знаешь, что надо было взять этого парня под ручку, привести к себе домой, помочь ему с разбором текста, а потом уж поговорить с ним, может даже наорать на него — но после того, как он сделает задание! Откликнуться на его просьбу — вот что надо было сделать, Обязательно, потому что, на счастье, это была просьба! Плохо сформулированная? Пусть! Корыстная? Так все просьбы таят под собой корысть, ты сам знаешь! Это ведь твоя работа — превращать интерес с расчетом в интерес к тексту! Но вот бросить Максимилиана на улице и вернуться домой, как сделал ты, означало оставить разделяющую вас стену стоять, как и раньше. Ты даже ее укрепил, эту стену! На эту тему есть у Лафонтена басня. Хочешь, расскажу? Там главное действующее лицо — ты!

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК

Шалун великий, Ученик,
На берегу пруда резвяся, оступился,
И, в воду опустясь, ужасный поднял крик.
По счастью, за сук он ивы ухватился,
Которая шатром
Нагнула ветви над прудом.
На крик Ученика пришел его Учитель,
Престрогий человек и славный сочинитель.
«Ах, долго ли тебе во зло употреблять
Мое примерное терпенье? —
Воскликнул педагог.
— Не должно ль наказать
Тебя за шалости, дурное поведение?
Несчастные отец и мать! жалею вас!
Ну как пойдешь ты мокрый в класс?
Не станут ли тебе товарищи смеяться?
Чем здесь в пруду купаться,
Учил бы лучше ты урок.
Забыл ты, негодяй, мои все приказанья;
Забыл, что резвость есть порок!
Достоин ты, весьма достоин наказания;
И, ergo, надобно теперь тебя посечь».
Однако же педант не кончил этим речь,
Он в ней употребил все тропы и фигуры
И декламировал, забывшись до того,
Что бедный ученик его,
Который боязлив и слаб был от натуры,
Лишился вовсе чувств, как ключ пошел на дно.
Без разума ничто учение одно.
Не лучше ль мне поторопиться
Помочь тому, кто впал от шалости в беду?
За это ж с ним браниться
И после время я найду.⁴⁶

⁴⁶ Пересказ А. Е. Измайлова.

Максимилиан — типичный современный двоечник. Когда толкуют о сегодняшней школе, говорят в основном о нем. Каждый год в школу идут двенадцать миллионов четыреста тысяч юных французов, из них около миллиона подростков — дети иммигрантов. Предположим, что двести тысяч из них хронически не успевают. Сколько из этих двухсот тысяч скатилось к вербальному или физическому насилию (оскорбления в адрес учителей, жизнь которых превратилась в ад, угрозы, побои, порча помещений и прочее)? Четверть? Пятьдесят тысяч? Допустим. Отсюда следует, что из двенадцати миллионов четырехсот тысяч школьников лишь четыре десятых процента соответствуют образу Максимилиана — ужасающего призрака хулигана-двоечника, губителя цивилизации, который заслоняет собой всё, когда наши средства массовой информации заводят речь о школе, и возмущает умы, в том числе и самые серьезные.

Предположим, что я ошибаюсь в расчетах и что мои четыре десятых процента надо умножить на два или на три, все равно цифра остается смехотворной, а страх перед этой молодежью — совершенно постыдным для нас, взрослых.

Подросток из какого-нибудь заштатного городка или с дальней столичной окраины, черный, араб или француз, большой любитель «фирмы» и мобильных, свободный электрон, перемещающийся в пространстве группами, в натянутом до подбородка капюшоне, испещряющий своими граффити стены домов и вагоны метро, любитель рубленой музыки с агрессивными текстами, громогласный и драчливый, тот, кого считают хулиганом, наркодилером, поджигателем или потенциальным религиозным экстремистом, Максимилиан — современный образ предместий былых времен; и как когда-то буржуа любили грешным делом наведаться на улицу Лапп⁴⁷ или в излюбленный апашами кабачок на берегу Марны, так и сегодняшний «буффон» любит поглазеть на Максимилиана, точнее, не на него самого вживе, а на его образ, который сам же стряпает и подает под разными соусами в кино, литературе, рекламе и новостях. Максимилиан являет собой одновременно воплощение того, чего боятся, и того, что продают, он и герой самых жестоких фильмов, и лицо самых популярных торговых марок. Если физически Максимилиан вытеснен на периферию больших городов (заслуга в этом принадлежит градостроительству в целом, ценам на недвижимость и полиции), то образ его достиг самого сердца самых зажиточных кварталов, и «буффон» с ужасом обнаруживает, что его дети одеваются как Максимилиан, говорят на жаргоне Максимилиана и — кошмар! — подражают говору и интонациям Максимилиана! Отсюда до воплей о гибели французского языка и о скором конце цивилизации один шаг, и шаг этот будет сделан со страхом тем более сладостным, что в глубине души мы знаем: именно Максимилиан падет его жертвой.

4

При ближайшем рассмотрении Максимилиан оказывается оборотной стороной медали всеобщего омоложения. Наше время вменило молодость себе в обязанность: надо быть молодым, думать как молодые, потреблять как молодые, сохранять молодость до глубокой старости, мода у нас молодая, футбол — молодой, радиостанции — молодые, журналы, реклама — все молодое, на телевидении полно молодых, молодой Интернет, родители молодые, даже политические деятели и те помолодели. Да здравствует молодость! Слава молодым! Надо быть молодым!

Только не Максимилианом.

5

⁴⁷ Улица Лапп, расположенная в квартале Бастилии, была одним из центров ночной жизни и славилась своими кабачками, завсегдатаями которых были апаша — в начале XX века городские хулиганы, уличные бандиты.

— Учителя забивают нам голову всякой дурью, мсье!

— Ошибаешься. Твоя голова уже забита. Учителя пытаются ее очистить.

Этот разговор состоялся у меня в одном техническом лицее в окрестностях Лиона. Чтобы добраться до него, мне пришлось пересечь по *man's land*⁴⁸, застроенную всевозможными складами, на которой мне не встретилось ни единой живой души. Десять минут ходьбы меж глухих стен, среди бетонных коробок с крышей из асбестоцемента — вот такая милая утренняя прогулка предлагалась ученикам, живущим в округе.

О чем мы говорили в тот день? Конечно, о чтении, еще о письме, о том, как приходят на ум писателям разные истории, о том, что значит слово «стиль», о понятии персонажа и о понятии личности, и, как следствие, о боваризме⁴⁹, о том, как опасно слишком долго ему предаваться после прочтения романа (или просмотра фильма), о реальности и вымысле, о том, как в телевизионных реалити-шоу одно подменяется другим, о разных вещах, которые становятся интересными для любого школьника, как только он начинает относиться к ним всерьез... И еще мы говорили о более отвлеченных вещах, например об их отношении к культуре. Само собой разумеется, что они в первый раз видели живого писателя, что никто из них ни разу не был в театре и что лишь немногие побывали в Лионе. Когда я спросил у них почему, ответ не заставил себя ждать: «Ну да, еще ехать туда, чтобы на тебя все эти „буффоны“ смотрели как на дерьмо!»

В сущности, миропорядок сохранен: город боится их, они боятся реакции города... Как и многие представители их поколения, все они — и мальчики, и девочки — такие высокие, что можно подумать, будто они росли между складских стен и тянулись к солнышку. Некоторые одеты по моде — по *их* моде, как им кажется, но на самом деле по моде универсальной, — и все говорят с этой рэперской интонацией, которая прилипает даже к самым продвинутым «буффонам» из тех самых центральных районов, куда эти ребята не осмеливались сунуться.

Наконец речь зашла об их учебе.

Тут-то и проклюнулся местный Максимилиан. (Да, я решил наделить этим прекрасным, величественным именем всех двоечников этой книги — как из предместий, так и шикарных кварталов.)

— Учителя забивают нам голову всякой дурью, мсье!

Очевидно, это был главный двоечник класса. (Можно много рассуждать об этом «очевидно», но двоечника в классе узнаешь сразу — это факт. Везде, куда меня приглашали: в престижных учебных заведениях, технических лицеях или провинциальных коллежах, — Максимилианов легко узнать по напряженному вниманию и нарочито приветливому взгляду, с которыми обращается к ним учитель, стоит им только заговорить, по преждевременному смеху одноклассников, по еще чему-то такому — не знаю чему — особому в их голосе, по извинительному тону и неуверенной горячности. Когда же они молчат — а Максимилианы часто молчат, — я узнаю их по беспокойному или враждебному молчанию, которое так отличается от внимательного молчания ученика, набирающего ума. Двоечник постоянно колеблется между извинениями за то, что он есть, и желанием быть вопреки всему — найти свое место, заставить других его принять, пусть даже насильственно, ведь насилие — это его антидепрессант.)

— Как это — учителя забивают вам голову всякой дурью?

— Забивают, и всё тут! Всякой никому не нужной дурью!

— Ну, например, что это за никому не нужная дурь?

⁴⁸ Ничья земля, нейтральная полоса (*англ.*).

⁴⁹ *Боваризм* — в психиатрии: состояние, которое характеризуется потерей способности проводить четкую грань между действительностью и фантазией, когда факты реального мира подменяются воображаемыми.

— Да всё, ваще! Эти... предметы! Это ведь не жизнь!
— Как тебя зовут?
— Максимилиан.
— Ну так вот, ты, Максимилиан, неправ. Учителя не забивают тебе голову, а пытаются ее очистить. Потому что твоя голова и так забита.

— Забита? Голова?
— Что это у тебя на ногах?
— На ногах? Мои N, мсье! (Здесь следует название торговой марки.)
— Что-что?
— Мои N, это мои N!
— А что это такое — твои N?
— Как это — что такое? Это мои N!
— Я спрашиваю, что это за предмет, предмет назови.
— Это N!

Я вовсе не хотел унижать Максимилиана, а потому обратился с тем же вопросом к остальным:

— Скажите, что это у Максимилиана на ногах?

Все начали переглядываться, храня смущенное молчание; к этому времени мы провели вместе уже добрый час, беседовали, размышляли вместе, шутили, много смеялись, им очень хотелось бы мне помочь, но ничего не поделаешь — Максимилиан был прав:

— Это его N, мсье.
— Ладно, я понял, да, это N, ну а предмет-то какой? Предмет?

Тишина.

Вдруг девичий голос:

— Ах, предмет? Так это кроссовки!
— Так. А понятие более общее, чем «кроссовки»? Ну, как мы называем такие предметы? Ты могла бы сказать?

— О... обувь?

— Ну вот, правильно, это обувь, кроссовки, шузы, лапти, боты, башмаки, чеботы — все, что хотите, только не N! N — это фирма, торговая марка, а марка — это не вещь, не предмет!

Вопрос учительницы:

— Эта вещь нужна для ходьбы, а марка для чего нужна?

Из глубины класса взмывает осветительная ракета:

— Чтобы все усрались!

Всеобщее веселье.

Учительница:

— Чтобы выделиться, да.

Показывая на свитер другого мальчика, учительница задает новый вопрос:

— А на тебе, Самир, что это надето?

Немедленно раздается тот же ответ:

— Это мой L, мадам!

Я изображаю на лице последнюю стадию агонии, как будто Самир только что отравил меня и я умираю на глазах школяров, и тут раздается чей-то веселый голос:

— Нет-нет, это свитер! Не умирайте, мсье, не надо, это свитер! L — это свитер!

Я воскрес.

— Правильно, это его свитер, и, хотя «свитер» — слово английского происхождения, все равно это лучше, чем фирма! Моя матушка сказала бы «водолазка», а бабушка — «фуфайка», старое слово, фуфайка, но все же лучше, чем марка, потому что — слышишь, Максимилиан? — это марки забивают вам головы, а не учителя! Фирмы, марки — вот что у вас в голове: мои N, мой L, моя T, мой X, мои Y! Они забивают вам голову, отнимают ваши деньги и ваше тело тоже — это как униформа, вы становитесь живой рекламой, будто

манекены в магазине!

И тут я рассказываю им, что в моем детстве было такое явление — «человек-реклама», живой бутерброд, и я даже помню одного такого: пожилой дяденька стоял на тротуаре напротив нашего дома, зажатый между двумя рекламными щитами, расхваливавшими какую-то марку горчицы.

— Вот и с вами то же самое происходит.

Но Максимилиан не дурак:

— Только нам за это не платят!

В ответ ему вступает девочка:

— А вот и нет! В городе, у входа в лицеи, они ловят мажоров, самых понтовых, и втюхивают им задаром фирму, чтобы те потом выпендривались в классе. Их дружки тащатся и сами бегут покупать. Так все и продается.

Максимилиан:

— Супер!

Учительница:

— Ты так считаешь? А мне вот кажется, что эта ваша фирма, хоть и дорогая, стоит гораздо меньше вас самих.

За этим последовала глубокая беседа о таких понятиях, как стоимость, цены, но не продажные, а иные — ценности, те самые, смысла которых, как считается, они давно уже не понимают...

Мы расстались после маленькой устной манифестации: «Сво-бо-ду сло-вам! Сво-бо-ду сло-вам!», после того как все их привычные вещи: кроссовки, рюкзаки, ручки, свитера, куртки, плееры, каскетки, телефоны, очки — сменили свои марки на настоящие имена.

6

На следующий день после этой встречи, уже в Париже, я спускался с холмов 20-го округа к своему офису, и тут мне пришла в голову мысль. Я решил оценить каждого из встречающихся мне школьников, методично высчитывая, сколько они стоят: кроссовки — 100 евро, джинсы — 110 евро, куртка — 120 евро, рюкзак — 80 евро, плеер (убийственная аудиопрогулка в 90 децибел), многофункциональный мобильный телефон — 90 евро, не считая того, что лежит в ранце, скажем — беру по дешевке — 50 евро оптом, и всё это катится на сверкающих новеньких роликах за 150 евро пара. Итого: каждый школьник стоит 880 евро, то есть 5764 франка, что равно 576400 франкам моего детства. В последующие дни я проверил эти подсчеты, сравнивая их по дороге на работу и домой с ценниками, выставленными в витринах встречавшихся мне магазинов. Все сводилось приблизительно к полумиллиону старых франков. Каждый из этих ребят стоил полмиллиона франков моего детства! Это в среднем для ребенка из среднего класса, имеющего родителей со средними доходами, в сегодняшнем Париже. Цена парижского школьника, одетого с иголочки, скажем после рождественских каникул, в обществе, которое рассматривает молодежь прежде всего как клиентуру, рынок сбыта, мишень.

Итак, дети — клиенты, со средствами или без, в больших городах или в предместьях, все они засасываются в один и тот же водоворот потребления, словно в гигантский вселенский пылесос желаний, бедные и богатые, большие и маленькие, мальчики и девочки, вперемешку смываются единым бурлящим желанием — потреблять! Что означает менять товары, желать все время нового, нового, нового, не просто нового — это должен быть последний крик! И обязательно — фирма! И чтобы все знали! Если бы торговые марки были медалями, мальчишки и девчонки с наших улиц звенели бы, как опереточные генералы. Самые серьезные теле- и радиопередачи направо и налево кричат, что речь идет об их личности. Вот и недавно, в первый день учебного года, великая жрица маркетинга проникновенным тоном любящей бабушки вещала утром по радио, что школа должна открыться навстречу рекламе, являющей собой лишь один из видов информации, которая, в

свою очередь, служит источником образования. Что и требовалось доказать. Я наострил ухо. Что это за сказки, мадам Маркетинг, вы там рассказываете своим хорошо поставленным бабушкиным голосом? Рекламу — в один мешок с науками, искусством, литературой! Бабуля, вы это серьезно? Да, серьезно. Она была серьезна донельзя, шельма. Дьявольски серьезна. Ибо вещала не от своего имени, а от имени жизни — *такой, какая она есть!* И тут я увидел жизнь глазами мадам Маркетинг: этакий гигантский гипермаркет, без стен, без пределов, без границ, созданный единственно ради потребления! И идеальную школу — глазами той же Бабули: неисчерпаемые залежи потребителей, прожорливость которых возрастает день ото дня! И задачу преподавателей: подготовить школьников к наилучшему манипулированию тележкой, которую им предстоит толкать по бесконечным рядам этого гипермаркета! «Хватит отгораживать их от общества потребления! — чеканила Бабуля. — Они должны выйти из школьного гетто хорошо информированными!» «Школьное гетто» — так Бабуля называет Школу! И «информация» — вот к чему она сводит образование. Ты слышишь, дядя Жюль? Оказывается, ты спасал ребятишек от семейной косности, вытаскивал из непроходимых дебрей невежества для того, чтобы засадить в школьное гетто, скажи на милость! А вы, моя дорогая виолончелистка из Блан-Мениля, известно вам, что, пробуждая у ваших учеников интерес к литературе, а не к рекламе, вы, оказывается, вели себя как слепой надсмотрщик в школьном гетто? Эй, учителя! Когда наконец вы прислушаетесь к словам Бабули? Когда поймете вашей тупой башкой, что мир надо не познавать, а потреблять? Что ваши ученики должны читать не «Мысли» Паскаля, не «Рассуждения о методе», не «Критику чистого разума», не Спинозу, не Сартра, а «Большой каталог всего самого лучшего, что производится в жизни — такой, какая она есть»? Ага, Бабуленька, сколько ни переодевайся, ни прячешься за красивыми словами, все равно я узнал тебя: на самом деле ты Серый Волк, Зубами Щелк! Разинув пасть, ты сидишь в засаде перед школой, прикрываясь завораживающими рассуждениями, и только и ждешь, как бы слопать этих Красных Шапочек, этих маленьких потребителей, и в первую очередь, конечно же, Максимилиана, потому что он защищен от тебя меньше остальных. Ах, какая она вкусная, эта его головенка, нафаршированная желаниями! И как стараются, как выбиваются из сил учителя, чтобы вытащить ее у тебя из пасти! Бедняги, куда им с их-то возможностями — два часа того, три часа сего — против твоей тяжелой рекламной артиллерии? Да-да, Бабуленька: раскрыв пасть, в засаде перед школой — и ведь получается! С середины семидесятых идут дела, всё лучше и лучше! Сегодня ты лопаешь уже детей тех, кого пожирала вчера! Вчера — моих учеников, сегодня — их потомство. Целые семьи, принимающие свои прихоти за насущные потребности, барахтаются в жуткой жиже твоего хорошо аргументированного пищеварения! И все, от мала до велика, пребывают в одном и том же состоянии детства с его неумными желаниями. «Еще! Еще!» — кричат из глубины твоего желудка эти уже употребленные тобой потребители, дети и их родители, все вперемешку. Еще! Еще! И, разумеется, громче всех кричит Максимилиан.

7

Я покидал этих ребят из лионского предместья с чувством горечи. Их бросили в городской пустыне. Невидимая школа, затерянная где-то в лабиринте складов и пакгаузов. Да и сам городок немногим веселее... В ближайшем обозрении ни кафе, ни кинотеатра, ничего живого, ничего, на чем можно остановить взгляд, кроме гигантских рекламных щитов, расхваливающих недоступные для них вещи... Как тут упрекнешь их в этом бесконечном выпендреже, в этом стремлении слепить свою внешность по образу себе подобных? Легко высмеять это желание быть увиденными — это у них-то, которых так глубоко запрятали от мира и которые так мало видят в жизни! Что им предлагают, кроме искушения жить *внешностью*, им, которым на роду написана безработица и которые в большинстве своем, в силу известных превратностей истории, не имеют ни своего прошлого, ни своей географии? Чем они могут потешить себя — в смысле отдохнуть, восстановить

силы, — как не этими играми с внешностью? Ибо, по Бабушке Маркетинг, это и есть специфика рекламы: давать молодежи внешность, удовлетворять постоянную жажду «выглядеть»... Господи боже ты мой! Вот ведь какая соперница для бедных учителей, эта торговка готовыми образами!

В поезде, увозящем меня из Лиона, мне приходит в голову, что я еду сейчас не только к себе домой: я возвращаюсь в самую сердцевину моей истории, я собираюсь укрыться в самом центре моей географии. Перешагнув порог, я окажусь там, где задолго до своего рождения уже был самым собой: каждая вещица, каждая книга из моей библиотеки удостоверяют мою многовековую личность... При таких условиях не слишком трудно устоять перед искушением внешностью.

О чем мы и беседуем вечером с Минной.

«Не стоит недооценивать этих ребят, — говорит она мне, — надо учитывать их энергию! И их здравый смысл — когда они выйдут из переходного возраста. Многие очень даже неплохо выпутываются».

И она принимается перечислять мне наших друзей и знакомых, которые выпутались. Среди них, конечно же, Али, который мог очень плохо кончить, но который сегодня находится в самом центре проблемы, занимаясь спасением ребят, наиболее подверженных опасности. А коль скоро все они оказались жертвами внешности, то есть образа, то именно при помощи образов Али и решил их спасти. Он вооружает их камерами и учит снимать фильмы об их детстве — таком, какое оно есть на самом деле, а не каким выглядит.

Из разговора с Али.

«Это всё ребята, у которых проблемы с учебой, — объясняет он мне. — Чаще всего они растут без отца, у многих сложности с полицией, они не желают ничего слышать о взрослых, их определяют в такие промежуточные классы, вроде твоих „особых“, которые были в семидесятые, как я думаю. Я беру вожаков, пятнадцати-шестнадцатилетних главарей, временно изолирую их от их групп, потому что именно группа их и губит всегда, она мешает им становиться самими собой, сую им в руки камеру и поручаю взять интервью у кого-нибудь из приятелей, на их выбор. Они берут это интервью в уголке, вдали от посторонних глаз, потом приходят ко мне, и мы просматриваем фильм уже вместе, всей группой. Всегда одно и то же: интервьюируемый выламывается перед камерой, а тот, кто снимает, включается в игру. Оба выпендриваются как могут, особенно это заметно по их интонациям, строят из себя нечто, а при их-то убогом словарном запасе им только и остается, что брать голосом, вот они и орут во всю глотку (маленький, я сам был такой), дуют щеки, обращаются как бы к своей группе, как будто их группа — единственный возможный зритель, ну а их приятели во время просмотра покатываются со смеху. Я прокручиваю фильм еще раз, потом третий, четвертый. Смех слышится все реже и реже, становится все более неуверенным. Репортер и интервьюируемый чувствуют: возникает нечто странное, чего им никак не определить. На пятый или шестой раз между ними и зрителями появляется уже настоящая неловкость. На седьмой или восьмой (честно, мне приходилось прокручивать один и тот же фильм до девяти раз!) они понимают без моей подсказки, что это такое проступает на поверхности фильма: выпендрож, нелепая бравада, фальшь, обычная их комедия, все эти привычные ужимки и прыжки — и что это вовсе не интересно, что все это — ерунда, ничего общего с реальной жизнью. И вот когда они достигают этой степени прозрения, я прекращаю просмотр и отправляю их назад, переделывать все заново, ничего при этом не объясняя. И на сей раз они приносят кое-что посерьезнее, нечто имеющее отношение к их реальной жизни: они представляются, называют имя, фамилию, рассказывают о своей семье, о школьных делах, бывает, что они умолкают на время, подыскивая слова, видно, как они задумываются — и тот, кто отвечает, и тот, кто задает вопросы, — и так, мало-помалу, мы видим, как эти

подростки становятся сами собой, это уже не „молодежь“, пугающая людей ради развлечения, они снова становятся мальчишками и девчонками своих лет, пятнадцати- или шестнадцатилетними, внешность отступает перед возрастом, который выходит на первый план, шмотки, каскетки становятся чем-то вторичным, жестикация смягчается, тот, кто снимает фильм, инстинктивно сужает кадр, меняет фокус, приближая лицо, которое приобретает особое значение; можно сказать, что интервьюер *слушает лицо* интервьюируемого, и на этом лице проявляется попытка понять другого, как будто они впервые смотрят друг на друга, видя себя такими, какие они есть, со всей их сложностью».

8

Минна же, в свою очередь, рассказывает мне, как, бывая в младших классах, предлагает ребятам игру, от которой те приходят в восторг, — игру в деревню. Правила просты: болтая с малышами, определяя в целом черты их характера, их манеры, желания, особенности, она превращает класс в деревню, где каждому отводится особое место, необходимое с точки зрения остальных: булочница, почтальон, учительница, автомеханик, бакалейщица, доктор, аптекарша, земледелец, водопроводчик, музыкант; каждому — свое, включая тех, для кого она изобретает вымышленные профессии, столь необходимые, как сборщица снов или художник по облакам...

— А что ты делаешь с хулиганом? С тем, на которого приходится четыре десятых процента, — малолетним преступником, хулиганом? Кем ты его делаешь?

Она улыбается:

— Жандармом, конечно же.

9

Увы, нельзя сбрасывать со счетов настоящего бандита, бандита-убийцу, которого никогда не удастся переделать в жандарма — даже играючи. Редкий случай, но он существует. И в школе тоже. За двадцать пять лет преподавания мне пришлось повстречать его раз или два среди двух с половиной тысяч учеников. Видел я его и на скамье в суде, этого подростка с преждевременно развившейся ненавистью, с ледяным взглядом, подростка, при виде которого сразу думаешь: этот плохо кончит, потому что он не может противостоять ни единому порыву, не сдерживает своих реакций, культивирует свою ярость, замышляет месть, любит причинять боль, терроризирует свидетелей и, совершив преступление, остается абсолютно непроницаем для каких-либо угрызений совести. Например, этот восемнадцатилетний паренек, который перебил топором позвоночник своему ровеснику К. по той простой причине, что тот был из квартала напротив... Или вот этот, пятнадцати лет от роду, пырнувший ножом учителя французского. А еще вот эта — девочка, воспитывавшаяся в частных школах, днем — двоечница, а ночью — соблазнительница сорокалетних мужчин, которых она сдавала двум подручным, ей под стать, и те пытали ее клиентов до смерти, чтобы потом ограбить. После допроса она спросила у потрясенных полицейских, можно ли ей теперь пойти домой.

Это всё не обычные подростки. Хотя преступление и объясняется самыми разными социально-психологическими факторами, оно все равно остается загадкой для рассматриваемого нами вида. Нет ничего удивительного в том, что физическое насилие растет вместе с обнищанием, замкнутостью, безработицей, искушениями пресыщенного общества, но то, что пятнадцатилетний мальчик замышляет убийство своего учителя — и совершает его! — остается патологически единичным случаем. И делать из такого подростка с помощью газет и телевидения символ определенной группы молодежи, взятой в отдельном месте (городские окраины), — значит выдавать эту молодежь за какое-то скопище убийц, а школу — за очаг преступности.

Относительно убийств бесполезно будет отметить, что за вычетом вооруженных

нападений, уличных драк, убийств с целью ограбления и бандитских разборок около восьмидесяти процентов кровавых преступлений совершаются в семейном кругу. Люди убивают друг друга прежде всего у себя дома, под собственной крышей, варясь в соку своих неурядиц.

А выдавать школу за некую криминогенную среду — это уже само по себе криминал, чудовищное преступление перед школой.

10

Сегодня многие считают, что насилие пришло в школу только вчера, причем с окраин и единственно с иммигрантами. Раньше его в школе не было. Это догма, не подлежащая обсуждению. Однако у меня сохранились воспоминания о бедных учителях, которых мы изводили галдежом в шестидесятые годы, о педагоге, который, выйдя из себя, швырнул в нас, третьеклассников, свой стол, о надзирателе, которого увели из школы в наручниках за то, что он отлупил ученика, доведшего его до бешенства, а также — это уже из восьмидесятых — о девочках, на вид таких послушных, после общения с которыми их учителю прописали лечение сном (я как раз замещал его тогда), и всё потому, что он имел наглость требовать, чтобы они прочитали «Принцессу Клевскую»⁵⁰, которую эти барышни находили «слишком нудной»...

В семидесятые годы, на сей раз девятнадцатого века, Альфонс Доде так выражал свою тоску классного наставника, замученного учениками⁵¹:

Я вступил во владение средним классом. Я обнаружил там полсотни злобных сорванцов, щекастых горцев двенадцати — четырнадцати лет, сыновей разбогатевших фермеров, которых родители отправляли в коллеж, чтобы они стали мелкими буржуа, платя за это по сто двадцать франков за учебную четверть, грубые, наглые, говорящие между собой на корявом севеннском наречии, которого я совершенно не понимал, все они были уродливы тем особым уродством, что присуще изменчивому детству, у всех были большие обмороженные красные руки, простуженные петушиные голоса, тупой взгляд, и надо всем этим витал запах коллежа. Они сразу же возненавидели меня, еще не успев узнать. Я был для них врагом, надзирателем; с того самого дня, когда я впервые занял свое место на кафедре, между нами началась война, жестокая, непримиримая, не прекращающаяся ни на мгновение.

Ах, жестокие дети, как я страдал из-за них!

Мне хотелось бы рассказывать об этом без злопамятства, все эти печали уже так далеко! Но нет, не могу; и, глядите-ка, пишу эти строки и чувствую, как рука моя лихорадочно дрожит от переживаний. Мне кажется, что я все еще там.

<...>

Как это ужасно — жить среди недоброжелательства, все время бояться, быть все время начеку, при оружии, как ужасно наказывать — невольно совершаешь несправедливости, — как ужасно подозревать, везде видеть подвохи, не есть спокойно, не спать безмятежно, и все время, даже в моменты перемирия, думать: «Господи, что же они теперь мне устроят?»

Но, Доде, послушайте! Вы явно преувеличиваете! Говорят же вам: насилие появится в

⁵⁰ «Принцесса Клевская» — роман (1678) французской писательницы госпожи де Лафайет (Мари Мадлен де Лафайет, 1634–1693).

⁵¹ Французский прозаик и драматург Альфонс Доде (1840–1897), автор ярких рассказов из жизни Прованса, по окончании средней школы вынужден был после разорения отца поступить на должность помощника учителя в провинциальный коллеж. Эти страницы его жизни нашли отражение в автобиографическом романе «Малыш» (1868, часть первая, глава 7), который цитирует Пеннак.

школе только век спустя! И придет оно не из Севенн⁵², Доде, а с городских окраин, только оттуда!

11

Когда-то двоечника изображали стоящим в углу с дурацким колпаком на голове. Этот образ не относился к какой-либо особой социальной категории, то был просто ребенок, один из многих, поставленный в угол за то, что он не выучил урок, не сделал домашнего задания или безобразничал в классе господина Доде, сиречь Малыша. Теперь же, впервые в нашей истории, появилась целая категория детей и подростков, которую ежедневно клеймят позором в качестве символических двоечников. Их больше не ставят в угол, на них не надевают дурацкого колпака, само слово «двоечник» вышло из употребления, расизм признан гнусностью, но их без конца снимают на пленку, показывают всей Франции, пишут о проступках некоторых из них статьи, представляя их как некую неизлечимую опухоль на теле народного образования. Мы не только подвергаем их тому, что сродни школьному апартеиду, нам надо еще бояться их как некой чумы национального масштаба: они становятся для нас *всей* молодежью из *всех* предместий. В представлении общественности все они двоечники и хулиганы, и притом опасные: они и есть школа, потому что, когда говорят о школе, говорят только о них.

Потому что о школе и заговаривают только для того, чтобы поговорить о них.

12

Правда и то, что некоторые из их преступлений (рэкет и поборы среди соучеников, избиение преподавателей, поджог школы, изнасилования) не идут ни в какое сравнение со школьными безобразиями прошлых лет, которые сводились лишь к худо-бедно контролируемому непослушанию, не выходящему за рамки учебных заведений. Какими бы редкими ни были эти преступления, их символическое значение ужасно, а почти моментальное распространение известий о них через телевидение, Сеть, мобильную связь удесятывает их миметическую опасность.

Некоторое время назад я побывал в общеобразовательном лицее с технологическим уклоном где-то в районе Диня⁵³; там у меня намечались встречи с несколькими классами.

Ночь в гостинице.

Бессонница.

Телевизор.

Репортаж.

Мы видим, как во время студенческой демонстрации на Марсовом поле⁵⁴ группы молодых людей нападают на случайных прохожих. Одна из их жертв падает. Это мальчик, ровесник нападающих. Его бьют. Он поднимается, его снова бьют, он снова падает, его опять бьют. Сцены повторяются. Сценарий всегда один и тот же: жертву выбирают наугад, по прихоти кого-либо из членов банды, и набрасываются на нее, превратившись в свору. Свора бежит за тем, что движется, один подгоняет другого, подчиняясь общему движению. Они несутся со скоростью выпущенного снаряда. Дальше в этой же передаче один папаша скажет, что его сына втянули; в принципе, он прав, во всяком случае в кинетическом смысле:

⁵² *Севенны* — горный кряж в восточной части Центрального массива.

⁵³ *Динь* (Динь-ле-Бен) — город на юго-востоке Франции, префектура департамента Альпы Верхнего Прованса.

⁵⁴ *Марсово поле* — публичный парк в Париже, между Эйфелевой башней и Военной школой.

тянули, тянули и втянули. Интересно, Максимилиан (мой) тоже входит в банду? Эта мысль пронзила меня насквозь. Однако насилие не ищет резонанса, а потому Максимилиан вполне может оказаться и среди жертв; на знакомство нет времени, агрессия слепа, сиюминутна, яростна. (Передача не рекомендована детям до двенадцати лет. В первый раз ее, должно быть, показали в прайм-тайм, и я представляю, сколько ребят, привлеченных этим запретом, прилипли тогда к экрану.) Сцены сопровождаются комментариями полицейского и психолога. Психолог ведет речь об отрыве от реальности в мире безработицы, заполненном картинами насилия; полицейский говорит об увечьях, нанесенных пострадавшим, и об ответственности виновных; оба, конечно, правы, но создается впечатление, что они стоят на несовместимых позициях, обозначенных расстегнутым воротом рубашки у психолога и туго повязанным галстуком полицейского.

Теперь показывают группу из четырех молодых людей, задержанных за убийство бармена. Они забили его насмерть развлечения ради. Девушка снимала сцену на свой мобильник. Она тоже пару раз ударила жертву — поддала ногой по голове, словно по футбольному мячу. Арестовавший их комиссар полиции подтвердил, что все они начисто лишены чувства реальности и, как следствие, нравственного сознания. Эта четверка так и развлекалась по ночам: они избивали людей, снимая свои «подвиги». Камеры слежения запечатлели, как они спокойно переходят от одного нападения к другому, словно друзья-приятели из «Заводного апельсина»⁵⁵. Снимать сцены насилия на мобильник — это новая мода, поясняет комментатор. Жертвой ее стала, в частности, одна молодая женщина, учительница (кадры). Вот мы видим, как в классе ученик сшибает ее с ног и избивает, и все это снимается на видео. Сегодня любой с легкостью может загрузить на свой компьютер из Сети такую сцену. Можно даже сопроводить ее музыкой по своему выбору. Здоровые комментарии подростков во время просмотра фильма об избитой учительнице.

Я переключаю на другой канал, потом еще, еще.

Неслыханное количество сцен насилия в фильмах, идущих по другим каналам. Тихая ночь, мирно спит в своей постели обыватель, но у него в изножье, в темной тишине телевизора не дремлют фильмы. Там убивают друг друга направо и налево, всеми возможными способами, в разных ритмах, во всех стилях. Современное человечество снимает свое постоянное умерщвление. По другой, научно-популярной, программе вдали от людей, на фотогеничном лоне природы пожирают друг друга животные. Тоже под музыку.

Я возвращаюсь на первый канал. Славный парень, в профессиональные обязанности которого входит публикация в Сети самых затаенных сцен насилия, снятых во всем мире (личечивание, самоубийства, несчастные случаи, нападения из засады, теракты, убийства и прочее), оправдывает свою грязную работенку классической сказкой о необходимости информации. Если не он, так другие все равно будут это делать; он не воплощение насилия, а всего лишь его вестник... Обычный мерзавец, один из тех, благодаря кому вертится эта машина, вроде Бабули Маркетинг, может, ее сынок, поди, и у самого дети есть...

Я выключаю телевизор.

Никак не уснуть. Так и тянет сползти в апокалипсический пессимизм. С одной стороны, систематическое обнищание, с другой — всеобщий страх и жестокость. Полный отрыв от реальности в обоих лагерях: биржевые абстракции — у имущих, видеопобоища — у отверженных; крупные акционеры превращают реального безработного в идею безработного, малолетние подонки — жертву в образ жертвы. И во всех этих случаях человек из плоти и крови, живая душа исчезает напрочь. А средства массовой информации делают из всего этого кровавую оперу с комментариями, наводящими на мысль, что в потенции *все* ребята с окраин способны носиться по улицам, чтобы мочить своих ближних, сведенных к образу ближнего. Ну и какое же место во всем этом занимает воспитание?

⁵⁵ «Заводной апельсин» — экранизация знаменитого романа (1962) Энтони Бёрджесса (1917–1993), снятая американским режиссером Стэнли Кубриком (1928–1999) в 1971 году, посвящена проблеме зла и насилия в современном обществе.

Школа? Культура? Книга? Разум? Язык? Зачем мне завтра идти в общеобразовательный лицей с технологическим уклоном, если учащиеся, с которыми я собираюсь встречаться, возможно, провели ночь в утробе телевидения?

Сон.

Пробуждение.

Душ.

Голову под холодную воду на несколько мгновений.

Господи, сколько нужно потратить энергии, чтобы *вернуться к реальной действительности*, после того как увидишь такое! Черт побери, вот какой образ современной молодежи предлагают нам все эти чокнутые! Я против. Поймите меня правильно: я не отрицаю правдивости того репортажа, не закрываю глаза на угрозу, которую представляет собой преступность. Меня, как и любого из вас, ужасают современные формы городского насилия, пугает психология собачьей своры, мне известно, каково это — жить в некоторых из окраинных районов, знаю я, как трудно там родиться девочкой и стать женщиной, я вполне могу соизмерить риск, которому подвергаются дети из семей, где было одно или два поколения безработных, какой прекрасной добычей они становятся для жуликов всех мастей! Я знаю это, я не умаляю трудностей, которые встают на пути учителя, сталкивающегося с самыми растленными элементами ужасающего социального месива, но я отказываюсь связывать с этими картинами крайнего насилия всех подростков из всех неблагополучных районов, и, самое главное, я ненавижу страх перед бедными, который пропаганда подобного рода разжигает во время каждой новой предвыборной кампании! Позор тем, кто делает из наиболее обездоленной молодежи фантазматический объект национального ужаса! Это отребье общества без чести, без совести, потерявшего всякое представление об отеческих чувствах!

13

Оказалось, что сегодня в общеобразовательном лицее с технологическим уклоном праздник, праздник этого лица. На два-три дня школа преобразилась в выставку всего того, что создают ученики вне занятий — живопись, музыка, театральные постановки, даже архитектурные проекты (они сами конструируют выставочные стенды), — под руководством завуча и команды преподавателей, которые знают по имени каждую девочку, каждого мальчика. В холле играет небольшой школьный оркестр. Я иду по коридорам под звуки скрипки. В актовом зале меня ждут три или четыре класса. Два часа мы играем в свободную игру вопросов и ответов. Их живость, их смех, их внезапная серьезность и, главное, их жизненная энергия, поразительная жизненная энергия избавляют меня от моего ночного телекошмара.

Возвращение.

Вокзальный перрон.

Сообщение Али на моем мобильнике: «Привет! Не забудь о нашей стрелке на завтра: мои оболтусы тебя ждут. Они заканчивают монтаж своих фильмов. Тебе надо это увидеть, они в улете от этого».

VI. ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ

В этом мире всегда надо быть немного слишком добрым, чтобы этого было достаточно.

Мариво. Игра любви и случая

Как только отчаявшиеся мамы вешают трубку, я вновь берусь за телефон, чтобы попытаться пристроить их отпрыска. Обзваниваю коллег: старых друзей, специалистов по безнадежным вопросам, в свою очередь выступая в роли безутешной мамы. На другом конце провода — веселье: «Ага, вот и ты! Ну да, ты всегда проявляешься в это время!», «Сколько пропусков за год, говоришь? Тридцать семь! Он промотал тридцать семь дней, и ты хочешь, чтобы я его взял? Ты совсем спятил?»

Дидье, Филипп, Стелла, Фаншон, Пьер, Франсуаза, Изабель, Али, другие... Скольких они спасли все вместе? Одна только Николь А. — ее лицей всегда открыт для неудачников...

Мне случалось просить даже в середине года:

— Ну, Филипп...

— За что его исключили? За драку? В школе, а потом у школы? С охранниками торгового центра! И это не в первый раз? Отличный рождественский подарочек! Ну присылай, посмотрим, что можно будет сделать.

Или вот такой разговор с мадемуазель Г., директрисой коллежа. Когда я пришел, она наблюдала за тем, как два класса корпят над контрольной работой. Тишина. Сосредоточенность. Ручки зажаты в зубах или вертятся между большим и указательным пальцами (как это у них получается? мне никогда не удавалось проделать такую штуку), у одних зеленая бумага для черновиков, у других — желтая... Тишина. Слышно, как мысль пролетает. Всю жизнь любил тишину послеобеденного отдыха и тишину классной комнаты. В детстве мне удавалось иногда объединять их. Была у меня страсть к незаслуженному отдыху. Я прекрасно владею искусством притворяться, что пишу, когда на самом деле передо мной чистый лист. Но под наблюдением мадемуазель Г. в эту игру не поиграешь.

Увидев краем глаза, как я вошел, она не повела бровью. Знает, что я никогда не побеспокою ее по пустяку, а уж если решаюсь на такое, то вряд ли для того, чтобы сообщить хорошую новость. Я бесшумно подхожу к столу директрисы, наклоняюсь к самому ее уху и шепотом зачитываю «послужной список»:

— Пятнадцать лет восемь месяцев, второй год в третьем классе, десять лет как ничего не делает, исключен по множеству мотивов, арестован месяц назад в метро за незаконную торговлю заколками для волос, мать сбежала, отец абсолютно безответственный. Берете?

Мадемуазель Г. по-прежнему не смотрит на меня, глаз не сводит со своей паствы и лишь кивает в знак согласия.

— При одном условии, — шепчет она, не разжимая губ.

— Каком?

— Не ждите от меня благодарности.

О, моя такая английская мадемуазель Г.! Ваше молчаливое согласие — одно из лучших моих воспоминаний об учителях. Это у Мариво, да, у Мариво — вы слышите? не в ваших там благочестивых книжках, а у Мариво! — я нашел фразу, которая может послужить вам тайным девизом: «В этом мире всегда надо быть немного слишком добрым, чтобы этого было достаточно».

И это работает, скажу я, добавив, что вы довели того паренька до аттестата зрелости.

2

Достаточно одного учителя — одного-единственного! — чтобы спасти нас от себя самих и заставить позабыть всех прочих горе-сеятелей разумного, доброго, вечного.

По крайней мере, такое воспоминание сохранилось у меня о мсье Бале.

Он вел у нас математику в первом классе. С точки зрения жестикуляции — полная противоположность Китингу; трудно представить себе учителя менее кинематографичного: какой-то, я бы сказал, весь округлый, высокий голос и ничего, что притягивало бы взгляд. Он встречал нас сидя за своим столом, любезно здоровался, и с первых слов мы попадали в математику. Из чего состоял этот настолько захватывавший нас урок? Из самого предмета, который преподавал нам мсье Баль и который, казалось, жил в нем самом, что делало его

существом удивительно живым, спокойным и добрым. Странная доброта, порожденная самим знанием, естественное желание поделиться с нами предметом, который восхищал его ум и, по его разумению, просто не мог быть нам неприятен или чужд. Баль был по уши в своей науке и в своих учениках. Ощущалось в нем что-то поразительно невинное, будто его похитили из математических яслей. Он и помыслить не мог, что на его уроке поднимут бузу, как и нам не приходило в голову издеваться над ним: уж слишком убедительно было то счастье, которое он находил в собственной работе.

А мы были непростой публикой. Почти сплошь вылезшие из помойки Джибути, мы являли собой малопривлекательное сборище. У меня сохранилось несколько воспоминаний о ночных драках в городе и о внутренних разборках, далеких от нежности. Но, как только мы входили к мсье Балью, погружение в математику словно освящало нас, и час спустя мы выныривали из нее записными математиками!

В день нашего знакомства, когда самые крутые из нас похвалялись своими круглыми нулями, он с улыбкой ответил, что не верит в *пустые множества*. После чего задал нам несколько простейших вопросов, ответы на которые воспринял как какие-то бесценные самородки, чем здорово нас повеселил. Затем он написал на доске число 12 и спросил, что это такое.

Наиболее наглые попытались выкрутиться:

— Двенадцать пальцев на руках!

— Двенадцать заповедей!

Но невинность его улыбки сбивала с толку.

— Это минимальная оценка, которую вы получите на выпускном экзамене.

И он добавил:

— Если перестанете бояться.

И еще:

— Впрочем, хватит об этом. Потому что мы тут будем заниматься не выпускным экзаменом, а математикой.

И правда, больше он ни разу не заговорил с нами об экзаменах. Пядь за пядью в течение этого года он вытаскивал нас из пропасти невежества, смеха ради делая вид, будто речь идет о кладезе премудрости, колодце знаний; и всегда приходил в восторг от того, что мы еще что-то знаем: «Вот вам кажется, будто вы ничего не знаете. Вы ошибаетесь, ошибаетесь: вы знаете очень и очень много! Смотри, Пеннаккьони, мог ли ты подумать, что знаешь это?»

Конечно же, его майевтика⁵⁶ не сделала из нас гениев математики, но как бы ни был глубок наш «кладезь», мсье Баль всех нас вытянул наверх, дотянул до проходного балла на выпускном экзамене.

И ни разу ни намек на наше жалкое будущее, которое непременно ожидало нас, по мнению других учителей.

3

Был ли он большим математиком? Была ли великим историком мадемуазель Жи, пришедшая к нам в следующем году? А мсье С., преподававший в выпускном классе, где я сидел второй год? Можно ли назвать его выдающимся философом? Допускаю, но, честно говоря, не поручусь; убежден только, что все трое были одержимы страстью к своему предмету и что страсть эта была заразительна. Вооружившись этой страстью, они нырнули за мной в пучину моего отчаяния и не выпустили из рук, пока я не нащупал дна обеими ногами, пока не обрел твердой опоры в их предметах, ставших для меня преддверием жизни.

⁵⁶ *Майевтика* (греч. *maieutike*, букв. повивальное искусство) — придуманное Сократом искусство извлекать скрытое в человеке знание с помощью наводящих вопросов.

Не то чтобы они занимались мной больше, чем остальными, нет, они совершенно одинаково смотрели на своих учеников — и на хороших, и на плохих, — умея возродить в последних желание понимать. Шаг за шагом они наблюдали за нашими усилиями, радовались нашим успехам, не раздражались от нашей медлительности, никогда не воспринимали наши неудачи как личное оскорбление и проявляли в отношении нас требовательность тем более жесткую, что она имела основанием высокое качество, постоянство и благородство их собственного труда. В остальном же трудно представить себе учителей более разных: мсье Баль, такой спокойный и доброжелательный, просто математический Будда; мадемуазель Жи, наоборот, настоящий смерч, ураган, который срывал с нас оболочку лени, чтобы увлечь за собой в бурный поток Истории; мсье С., скептический философ, утонченный (утонченный нос, утонченная шляпа, утонченное брюшко), непоколебимый и проницательный, заставлявший мою голову гудеть вечерами от вопросов, ответы на которые я жаждал получить. Я сдавал ему длинные сочинения, которые он считал слишком многословными, намекая таким образом на то, что ему было бы удобнее править более краткие работы.

Если задуматься, то этих троих объединяло лишь одно — мертвая хватка. Они не удовлетворялись нашими признаниями в невежестве. (Например, мадемуазель Жи: сколько работ заставила она меня переписать исключительно из-за моей жуткой орфографии! А мсье Баль? Сколько дополнительных занятий провел он со мной, когда я сидел, скучая или мечтая, в классе для самостоятельной работы! «А что, если нам провести небольшой урок математики? Минут этак на пятнадцать? А, Пеннаккьони? Раз уж мы тут... Четверть часика — ни больше ни меньше?...») Спасение утопающего, сила, которая тянет вас вверх, невзирая на ваше самоубийственное сопротивление, крепкая рука, вцепившаяся мертвой хваткой в ваш воротник, — вот что первым приходит мне на ум, когда я думаю о них. При них — на их уроках — я возрождался, становился самим собой: и этот, если можно так выразиться, я-математик, я-историк, я-философ на протяжении часа забывал обо мне другом, заключал меня другого в скобки, освобождал от себя самого, от того самого меня, который до встречи с этими учителями мешал мне по-настоящему ощутить свое присутствие в жизни.

И еще: мне кажется, все они обладали неким стилем. Они были настоящими артистами в умении преподавать свой предмет. Их уроки, несомненно, представляли собой акт передачи знаний, но учителя эти настолько владели знаниями, что весь процесс можно было принять за спонтанное творчество. Их непринужденность делала каждый урок явлением запоминающимся. Можно было подумать, что мадемуазель Жи воскрешала исторические события, мсье Баль заново открывал математику, а устами мсье С. говорил сам Сократ! Их уроки сами собой впечатывались в память, как теорема, мирный договор или фундаментальная идея, о которых шла речь. Это было событие!

На этом их влияние на нас заканчивалось. По крайней мере, явное влияние. Вне предмета, воплощением которого они являлись, эти трое даже не пытались на нас воздействовать. Они не принадлежали к тем учителям, которые похваляются своим влиянием на подростковый контингент, лишенный отеческой руки. Сознали ли они хотя бы свою роль главных освободителей? Что касается нас, мы были их учениками по математике, истории, философии — и только. Конечно же, мы испытывали от этого этакую чуточку снобистскую гордость — как члены закрытого клуба, но сами наши преподаватели очень удивились бы, узнав, что спустя сорок пять лет один из учеников будет изображать из себя их последователя и чуть ли не готовиться поставить им памятник! Тем более что дома, после работы, покончив с проверкой наших тетрадок, они, как моя виолончелистка из Блан-Мениля, и думать-то о нас больше не думали. Конечно же, у них были совсем другие интересы, их сила питалась любознательностью, что и объясняло, среди прочего, степень их «присутствия» в классе. (Особенно мадемуазель Жи, которая, казалось, была готова проглотить весь мир с его библиотеками.) Эти учителя делились с нами не только своими знаниями, но самой жаждой знаний! И они передали мне страсть к передаче интеллектуальных богатств. Мы шли на их уроки с чувством умственного голода. Я не сказал бы, что мы чувствовали их любовь, нет, но уважение — да, уважение, которое они

проявляли даже при проверке наших письменных работ, обращая свои замечания к каждому из нас конкретно. Образцом такого отношения могут служить пометки мсье Бома, нашего учителя истории в подготовительном классе. Он требовал оставлять пустой последнюю страницу наших работ, чтобы печатать там на машинке — красным, через один интервал — полный разбор каждого задания!

Эти учителя, с которыми я повстречался в последние годы моей учебы, здорово отличались от тех других, что видели в учениках лишь «этот класс», безликую массу, о которой они говорили не иначе как уничижительно. В их глазах мы были «самым ужасным» четвертым, третьим, вторым, первым или выпускным классом за всю их учительскую жизнь, у них никогда не было класса хуже... да... вот так... Можно было подумать, что из года в год они имеют дело с аудиторией все более и более недостойной их преподавания. На что они сетовали перед руководством, на классных и родительских собраниях. Их стенания пробуждали в нас особую свирепость, нечто вроде бешенства, которое заставляет потерпевших кораблекрушение топить несчастного капитана, позволившего кораблю напороться на риф. (Да, точно, это тот самый образ... Скажем так: они были для нас идеальными виновниками всех наших несчастий, как и мы — для них; их вечная подавленность поддерживала в нас спасительную злобу.)

Самым ужасным из них был мсье Бламар (Бламар — это псевдоним), печальный палач, который в мои девять лет обрушил на мою бедную голову столько плохих отметок, что даже сегодня, стоя в очереди в каком-нибудь госучреждении, я иногда невольно принимаю свой номерок за бламаровский вердикт: «Номер 175, Пеннакьони, как всегда, до поздравлений оооочень далеко!»

Или еще вот этот учитель биологии, в выпускном классе, которому я обязан своим исключением из лица. Сетуя, что средняя оценка в «этом классе» никогда не превышает трех с половиной из двадцати возможных, он имел неосторожность спросить нас о причинах сего явления. Высокий лоб, выставленный вперед подбородок, уголки губ опущены: «Ну так как? Может кто-нибудь объяснить мне... эти достижения?»

Я вежливо поднял руку и предложил два возможных объяснения: либо наш класс есть нечто чудовищное в статистическом плане (тридцать два ученика не могут выдать по биологии больше трех с половиной баллов), либо этот скудный результат вытекает из качества преподавания.

Я был очень доволен собой.

И с треском выставлен за дверь.

«Поступок героический, но бесполезный, — заметил потом мой приятель. — Знаешь разницу между учителем и станком? Нет? Плохой учитель не поддается ремонту».

Короче, я вылетел из лица.

Отец, естественно, был в ярости.

Противное время — и вспоминать его противно!

4

Вместо того чтобы собирать и публиковать перлы плохих учеников, над которыми потешаются в стольких учительских, следовало бы составить антологию хороших учителей. В литературе немало подобных примеров: Вольтер отдавал должное иезуитам Турнемину и Поре, Рембо посвящал свои стихи учителю Изамбару, Камю писал полные сыновней любви письма своему горячо любимому мсье Мартену, Жюльен Грин⁵⁷ сохранил яркие и теплые воспоминания о своем историке, мсье Леселье, Симона Вайль⁵⁸ пела хвалу Алену, который,

⁵⁷ Грин, Жюльен (1900–1998) — французский писатель американского происхождения, в чьих произведениях реализм сочетается с мистическим вымыслом.

⁵⁸ Вайль (Вейль), Симона (1909–1943) — французский философ и религиозный мыслитель.

в свою очередь, не забывал Жюль Ланьо⁵⁹, открывшего ему философию, Ж.-Б. Понталис⁶⁰ восхваляет Сартра, разительно выделявшегося на фоне всех остальных учителей...

Если, кроме этих знаменитых персон, антология включила бы в себя портрет незабываемого учителя, которого почти всем нам посчастливилось встретить хотя бы однажды за наши школьные годы, мы смогли бы пролить немного света на качества, необходимые для занятия этой странной профессией.

5

Насколько я помню, всякий раз, как молодой учитель сталкивается с трудностями в том или ином классе, он начинает говорить, что учился не для *этого*. Сегодняшнее *это*, абсолютно реальное, затрагивает столь разные области, как плохое воспитание, получаемое ребенком в разваливающейся семье, ущерб, наносимый общей культуре безработицей и оторванностью определенных социальных групп от общества, как следствие — утрата гражданских ценностей, насилие, имеющее место в некоторых учебных заведениях, языковая неоднородность, возврат к религиозности, а также телевидение, электронные игры — короче, все, что так или иначе определяет диагноз, который ежедневно с раннего утра ставят обществу во всех информационных передачах.

От «мы учились не для этого» до «мы здесь не для этого» — один шаг, который можно выразить следующим образом: мы, учителя, в школе не для того, чтобы решать проблемы общества, мешающие передаче знаний; наша профессия состоит не в этом. Дайте нам надзирателей, воспитателей, соцработников, психологов — короче, специалистов во всех областях, и в нужном количестве, и мы тогда сможем серьезно заняться преподаванием предметов, изучению которых посвятили столько лет. Требования более чем справедливые, на которые министерство неизменно отвечает отказом, приводя в качестве довода бюджетные ограничения.

Вот мы и входим в новую фазу подготовки преподавателей, все более и более нацеленную на умение устанавливать взаимоотношения с учениками. Помощь в этом необходима, но если молодые учителя будут ждать, что им предложат некий нормативный курс, позволяющий решить все проблемы, которые возникнут у них в классе, им предстоят новые разочарования; и «это», не для которого они учились, никуда не денется. И если уж начистоту, то я боюсь, что «это» никогда нельзя будет устранить полностью, поскольку «это» обладает той же природой, что и объективно образующие его факторы.

6

Идея, что преподавать можно, не испытывая никаких трудностей, основывается на некоем «возвышенном» представлении об ученике. Педагогическая мудрость должна была бы считать двоечника самым что ни на есть нормальным учеником — достойным объектом приложения педагогических усилий, настоящим вызовом мастерству преподавателя, ведь такого мало научить *всему* — его приходится убеждать в самой необходимости учения! Однако с незапамятных времен нормальным учеником считался как раз такой, который наименее других сопротивляется обучению, который никогда не усомнится в наших знаниях и не станет испытывать на прочность нашу компетентность, ученик заведомо хороший, наделенный способностью немедленно усваивать материал, который избавляет нас от необходимости искать особый подход к его «понималке», ученик, в котором живет

⁵⁹ Ланьо, Жюль (1851–1894) — французский философ, создатель рефлексивного метода в психологии.

⁶⁰ Понталис, Жан-Бертран Лефевр (р. 1924) — французский философ, психоаналитик и писатель.

естественная потребность учиться, который на уроке перестает быть озорным мальчишкой или трудным подростком, ученик, с колыбели убежденный в том, что желания и эмоции следует обуздывать с помощью разума, иначе жить придется в джунглях среди хищников и паразитов, ученик, для которого интеллектуальная жизнь есть источник удовольствий, бесконечно разнообразных и утонченных, в то время как большинство наших обычных радостей имеют свойство приедаться и изнашиваться, короче говоря, ученик, способный понять, что знание — это единственный способ избавиться от рабства, в котором удерживает нас невежество, и единственное утешение в нашем онтологическом одиночестве.

Образ этого идеального ученика и начинает слагаться в эфире, когда я слышу такую, например, фразу: «Всем, чего я достиг, я обязан государственной школе!» Я не подвергаю сомнению искреннюю благодарность говорящего. «Мой отец был простым рабочим, и всем, чего достиг, я обязан государственной школе!» Я не преуменьшаю заслуг этой школы. «Я — сын иммигрантов, и всем, чего достиг, я обязан государственной школе!»

Но — и это сильнее меня — как только я слышу эту публичную благодарность, мне сразу представляется фильм — полнометражный, — прославляющий, конечно, школу, да, но именно ту школу, куда ходил этот мальчик, который с самого первого часа в первом классе должен был уяснить себе, что государственная школа готова гарантировать ему будущность с одним мааааленьким условием: он именно такой ученик, какого она хочет видеть. А тем, кто не оправдывает ожиданий, — стыд и позор! И тут в голове у меня тихий голосок начинает этот фильм комментировать.

Все верно, приятель, ты многим обязан государственной школе, очень многим, но не всем, далеко не всем, вот тут ты ошибаешься. Ты забываешь про случай и его капризы. Например, ты, возможно, оказался способнее других. Или вырастившие тебя родители-иммигранты были такими же любящими и дальновидными, как мать и отец моей знакомой Каины, которые пожелали, чтобы три их дочери стали независимыми и образованными и чтобы ни один мужчина не обращался с ними так, как было принято в их время. И наоборот, ты мог бы быть, как мой друг Пьер, жертвой семейной трагедии и найти в учебе свое единственное спасение, погрузиться в нее с головой, чтобы позабыть на время занятий о том, что ждет тебя дома. Или, как Минна, ты мог бы быть заложником своей астмы и жаждать узнать как можно больше всего и прямо сейчас, чтобы оторваться от больничной койки. «Учиться, чтобы дышать, — сказала мне она однажды. — Как будто распахиваешь окна. Учиться, чтобы не задыхаться больше. Учиться, читать, писать, дышать, раскрывая окна все шире и шире. Воздуха, воздуха! Честное слово, школьные занятия — это был единственный способ отключиться от астмы. И мне плевать было на качество преподавания, мне надо было только встать с постели, пойти в школу и считать, умножать, делить, учить правила, законы Менделя, узнавать каждый день чуть больше, чем раньше. Это все, чего я хотела. Дышать, воздуха, воздуха!» А может, ты, как Жером, страдал манией величия с хорошей примесью юмора? «Как только я научился читать и считать, я понял, что мир — мой! В десять лет я проводил выходные в ресторане-отеле моей бабушки и под предлогом помощи официантам в зале я доставал клиентов вопросами на засыпку: сколько лет было Людовику XIV, когда он умер? что такое именная часть составного именного сказуемого? сколько будет 123 умножить на 72? Больше всего мне нравился такой ответ: „Не знаю, но ты мне, наверно, сейчас скажешь?“ Прикольно было в десять лет знать больше, чем местный аптекарь или кюре! Они трепали меня по щеке, а самим-то хотелось оторвать мне башку... Я страшно веселился».

Прекрасные ученики, просто отличники: Каина, Минна, Пьер, Жером, и ты, и еще одна подруга, Франсуаза, которая училась всему играючи, с раннего детства, без малейших трудностей (ах, что это за удивительная способность — забавляться серьезными вещами!), вплоть до того, что конкурс на преподавателя литературы в престижном лицее она прошла с такой легкостью, будто речь шла о заполнении карточки лото. Дети иммигрантов, рабочих, служащих, техников, учителей или крупных буржуа, все они были такие разные, но все без исключения — отличники. Это и был тот минимум, который отмечает в вас, в тебе и в них,

школа! И помогает тебе стать тем, кто ты есть! А ведь немало народу она оставляет на обочине, как ты считаешь?

Всячески превознося школу, на самом деле ты потихоньку льстишь самому себе, выставляя себя более-менее сознательно идеальным учеником. Поступая так, ты замалчиваешь бесчисленные моменты, из-за которых мы не равны в приобретении знаний: жизненные обстоятельства, окружение, болезни, темперамент... Ах, темперамент! Вот загадка из загадок!

«Всем, чего достиг, я обязан государственной школе!»

Не значит ли это, что ты пытаешься выдать свои способности за добродетели? (Хотя одно другого не исключает...) Свести свои успехи к вопросу воли, упорства, самоотдачи — этого ты хочешь? Все правильно, ты был трудолюбивым и усердным учеником, и это твоя заслуга, но видишь ли какое дело, ты рано стал пользоваться своей способностью понимать, с самых первых своих школьных опытов научился испытывать огромную радость от этого понимания, а значит, сами твои усилия были направлены на достижение этой радости! Пока я сидел за уроки, совершенно раздавленный убеждением в своей умственной отсталости, ты принимался за свои, дрожа от нетерпения поскорее перейти к чему-нибудь другому, потому что с задачей по математике, над которой я засыпал, ты разделялся в два счета. Домашние задания были для тебя трамплином, с которого дух твой воспарял куда-то в заоблачные дали, для меня же это были зыбучие пески, и все мои умственные способности увязали в них безвозвратно. Покончив с уроками, ты чувствовал себя свободным как ветер, испытывая удовлетворение от сделанной работы, я же, окончательно отупев от собственного невежества, гримировал жалкий черновик под беловой вариант, усердно все зачеркивая и перечеркивая, что, впрочем, никого не могло обмануть. В школе ты был трудяга, я — лентяй. Неужели это и есть лень? Вот это постоянное увязание в самом себе? А что же такое трудолюбие? Как это у них получалось, у трудолюбивых? Где черпали они силы? Эта загадка преследовала меня все детские годы. Усилие, которое меня уничтожало на месте, было для тебя с самого начала залогом успеха. Мы с тобой не знали тогда ни остроумного высказывания Пьяже⁶¹: «Нужно добиться успеха, чтобы понять», ни того, что оба являемся живой иллюстрацией данной аксиомы.

Страсть к пониманию ты подогревал в себе на протяжении всей жизни, и чертовски правильно делал! Она до сих пор блестит в твоих глазах! Тот, кто упрекнул бы тебя в этом, был бы завистливым дураком... Но умоляю, перестань путать свои способности с добродетелями, это нечестно, это смешивает карты, усложняя и без того слишком сложный вопрос воспитания (к тому же это довольно распространенный недостаток).

Знаешь, кто ты был на самом деле?

Ты был не ученик, а конфетка.

Так, став учителем, я называл (мысленно) своих отличников, этих редких самородков, когда обнаруживал таковых у себя в классе. Я очень любил их, эти свои конфетки! Я отдыхал на них душой. Они стимулировали меня к дальнейшей деятельности. Те, кто схватывал на лету, отвечал с блеском, а часто — и с юмором, этот горящий взгляд, эта открытость и непринужденность — высшая грация настоящего интеллекта... Например, маленькая Ноэми (простите, большая Ноэми, она ведь уже в первом классе!), которую учитель французского поблагодарил прямо в журнале, так и написал: «Спасибо». Он не стал пускаться в длинные похвалы: *Ноэми П., французский язык, 19/20. Спасибо.* И это справедливо: государственная школа многим обязана Ноэми. Так же как обязана она моему юному кузену Пьеру, который только что сдал свой выпускной экзамен на «очень хорошо» и сразу отправился на паруснике сражаться с океаном, таким беспокойным в эти первые дни июля 2007 года. «Ощущения посильнее, чем на экзамене...» — будто бы говорит его улыбка.

⁶¹ Пьяж е, Жан (1896–1980) — швейцарский психолог и философ, известен работами по изучению психологии детей, создатель теории когнитивного развития и философско-психологической школы генетической психологии.

Да, я всегда любил хороших учеников.

И жалел их тоже. Потому что у них свои страдания: не обманывать ожиданий взрослых; злиться, что оказался лишь вторым, когда этот кретин Такой-то вылез на первое место; угадывать возможности преподавателя с первого его урока; ну и, конечно, скучать понемногу в классе, терпеть насмешки двоечников, обвинения в соглашательстве с учителями, плюс, естественно, как и у всех, обычные проблемы роста.

Типичный портрет такого ученика-конфетки: Филипп, шестой класс, году этак в 1975-м, тоненький одиннадцатилетний Филипп, уши торчат перпендикулярно к голове, мощные зубы, из-за которых он немного пришепetyвает — жужжит, как пчела. Я спрашиваю его, хорошо ли он усвоил понятие прямого и переносного смысла, о котором мы говорили накануне.

— Прямой и переносный шмышл? Прекрасно, мшьє! У меня и примеры ешт!

— Пожалуйста, Филипп, мы тебя слушаем.

— Ну вот, вчера у наш были гошти. Мама предштавила меня им в переносном шмышле: «Это Филипп, наш маленький, шамый младший». Я правда шамый младший, это верно, во всяком шлучае на данный момент, но я шовшем не маленький, я для швоего возрашта очень даже большой! «Он у наш ешт как птичка». Это вообще идиотижм, птички жа день шъедают швой веш, кажетшя, а я почти ничего не ем. И еще она шкажала, что я вечно витаю где-то в облаках, а я в это время шидел жа штолом, ш ними шо вшеми, вше могли это подттвердить! А шо мной она говорила только в прямом шмышле: «Жамолчи, вытри рот, убери локти шо штола, попрощайшя шо вшеми и иди шпать...»

Из всего этого Филипп сделал вывод, что в переносном смысле разговаривают с гостями хозяйки дома, а в прямом — матери с детьми.

— И учителя, мшьє, — добавил он, — еще учителя ш учениками!

Не знаю, что стало с моим шепелявым Филиппом — архетипом ученика-конфетки. Чем он теперь занимается? Может, стал учителем? Я был бы рад. А может, преподавателем в Пединституте или другом каком учебном заведении? Готовит будущих учителей к встрече с учениками — такими, какие они есть в реальной действительности. Но, может, он и утратил свое педагогическое дарование. Может, его сочли слишком большим выдумщиком, чтобы преподавать, может, он уснул, а может, улетел...

7

Итак, ученик — такой, каков он есть. В этом всё.

«Осторожно, — предостерегали меня друзья, когда я взялся за написание этой книги, — школьники сильно изменились со времен твоего детства, да и за те двенадцать лет, что ты не преподаешь, — тоже! Они теперь совсем другие, знаешь ли!»

Да — и нет.

Это дети и подростки, которым столько же, сколько было мне в конце пятидесятых, — вот по крайней мере одна черта сходства. Они по-прежнему встают очень рано, их расписания и ранцы все так же забиты, а учителя, добрые или злые, остаются излюбленной темой их разговоров. Вот еще три точки соприкосновения.

Ах да! Есть одно различие: их теперь гораздо больше, чем в годы моего детства, когда для многих образование заканчивалось подобающей бумажкой. И теперь они разноцветные, во всяком случае в моем квартале, где живут иммигранты, построившие современный Париж. Число и цвет кожи составляют существенную разницу, это правда, но разница блекнет, как только мы оказываемся за пределами 20-го округа, особенно разница в цвете. Спускаешься с наших холмов к центру Парижа, и цветных школьников становится все меньше и меньше. А в лицах, расположенных вокруг Пантеона, их вообще не встретишь. Очень мало школьников-африканцев и школьников-арабов в центре — так сказать, пропорция милосердия, — вот мы и возвращаемся к белой школе шестидесятых.

Нет, фундаментальное различие между сегодняшними и вчерашними школьниками в

другом: *теперь не принято донашивать старые свитера своих старших братьев*. Вот оно, настоящее различие! Мама вязала свитер Бернару, а тот, вырастая, передавал его мне. То же было и с Думе и Жаном-Луи, нашими старшими братьями. Связанные мамой свитера, неизбежный сюрприз на каждое Рождество. Не водилось такой марки, такой этикетки — «мамин свитер», — и тем не менее большинство ребят моего поколения носили «мамины свитера».

Сегодня все по-другому. Сегодня всех — и маленьких, и взрослых — одевает Бабуля Маркетинг. Это она одевает-обувает, кормит-поит, причесывает, снаряжает школьника, начиняет его электроникой, ставит на ролики, на самокат, сажает на велосипед, скутер, развлекает, информирует, направляет, делает постоянные музыкальные вливания, гоняет по всему потребляемому миру, это она баюкает его и будит, а когда он садится за парту, вибрирует у него в кармане, успокаивая: не бойся, я тут, с тобой, в твоём телефоне, ты больше не заложник школьного гетто!

8

В семидесятые годы умер один ребенок. Назовем его Жюль, по имени Жюля Ферри, министра народного образования в 1878–1883 годах. Мы будем считать, что этот Жюль был как бы бессмертным и существовал вечно, на самом деле его зачали не больше века назад, и я с изумлением вдруг понял, что прожил-то он меньше, чем моя матушка. Придуманный около 1760 года Жан-Жаком Руссо как некий мысленный прототип по имени Эмиль, веком позже он был произведен на свет Виктором Гюго, почитавшим своим долгом вырывать детей из лап тяжелого труда, в которые их отправлял зарождавшийся индустриальный мир: «Право ребенка — стать человеком, — писал Гюго в „Увиденном“⁶², — человека же делает просвещение, а просвещение — порождение образования. Следовательно, ребенок имеет полное право на образование, бесплатное и обязательное». В конце 1870-х годов Республика усадила этого ребенка за парту светской, бесплатной и обязательной школы для удовлетворения его основных потребностей в образовании, овладении культурными навыками — умении читать, писать, считать, рассуждать, — без которых ему не сформироваться в личность, в гражданина, часть нации. Жюль существовал в двух ипостасях: в школе он был учеником, дома — сыном или дочерью. Семья заботилась о его воспитании, школа — об образовании. Эти два мира были практически герметичны, и мир самого Жюля — тоже: подростком он вступал совершенно неподготовленным в пору бурного взросления, терялся в догадках относительно особенностей противоположного пола, фантазировал и придумывал, обходясь «подручными средствами»; что же касается игр, то большинство из них зависело лишь от его фантазии и изобретательности. Кроме исключительных случаев, Жюля не касались ни эмоциональные, ни экономические, ни профессиональные заботы взрослых. Он не был ни сотрудником фирмы, ни доверенным лицом в своей семье, ни собеседником учителей. Разумеется, то затянутое в корсет общество было примитивно только с виду; чувства просачивались в него сквозь множество щелей, сообщая ему человеческую сложность. Вот только права Жюля ограничивались правом на образование, а обязанности — долгом сына, ученика и солдата (читай: пушечного мяса — из шести миллионов Жюлей между 1914 и 1918 годами было уничтожено 1350000, а большинство оставшихся в живых вернулись домой калеками).

Жюль прожил сто лет.

1875–1975.

В общем и целом.

Вырванный из лап индустриального общества в последнюю четверть XIX века, сто лет

⁶² «Увиденное» — собрание текстов Виктора Гюго (1802–1885), не опубликованных при его жизни. Выпущены впервые одним томом через два года после смерти писателя под названием, данным им издателями.

спустя он оказался в лапах общества рыночного, сделавшего из него ребенка-клиента.

9

Сегодня на нашей планете существует пять видов детей: ребенок-клиент — у нас, ребенок-производитель — под иными небесами, еще где-то — ребенок-солдат, ребенок-проститутка и — на изогнутых рекламных плакатах в метро — умирающий ребенок, который смотрит на нашу усталость голодными, беспомощными глазами.

Все они дети, все пятеро.

И всех пятерых используют.

10

Среди детей-клиентов есть те, кто располагает средствами родителей, и те, кому нечем располагать, те, кто покупает, и те, кто достает. В обоих случаях, тратя незаработанные деньги, молодой покупатель вступает в права собственника без затраты личных средств. Это и есть ребенок-клиент, ребенок, который без малейшего труда становится собственником *в тех же многочисленных областях потребления, что и его родители или учителя* (одежда, пища, телефония, музыка, электроника, транспорт, досуг). Таким образом, он начинает играть ту же экономическую роль, что и взрослые, на которых возложены заботы о его воспитании и образовании. Подобно им, он составляет огромную часть рынка, подобно им, способствует обороту денежных средств (то, что это не его средства, роли не играет); его желания, так же как и желания его родителей, постоянно подогреваются и обновляются, чтобы машина продолжала работать. С этой точки зрения он весьма важная особа — полноправный клиент. Как взрослые.

Автономный потребитель.

Начиная с самых первых детских желаний.

Удовлетворение которых якобы выражает степень любви к нему близких.

Взрослые, даже пытаясь защищаться, не могут противопоставить этому что-либо более-менее серьезное; так и развивается рыночное общество: любить ребенка (этого вот ребенка, настолько желанного, что с его рождением родители начинают чувствовать себя в бесконечном долгу перед ним) — значит любить его желания, которые очень быстро перерастают в жизненно важные потребности: потребность в любви или потребность в вещах, именно так, потому что любовь эту доказывают посредством приобретения вещей.

Желание иметь ребенка...

Погодите-ка, вот еще одно отличие сегодняшнего ребенка от меня в детстве: был ли я желанным?

Любимым — да, насколько любили в те далекие времена, но вот желанным?

Интересно, с каким лицом моя старушка мама, чей сто первый день рождения мы недавно отпраздновали (все же я слишком долго пишу эту книгу), восприняла бы вот такой мой вопрос:

— Кстати, мамочка, ты меня хотела?

— ...

— Ну да, ты правильно услышала: я хочу знать, был ли я желанным ребенком, хотели ли вы с папой моего рождения?

Так и вижу, как она смотрит на меня. Слышу, как она долго молчит. И отвечает вопросом на вопрос:

— Скажи-ка, у тебя все в порядке?

Если бы я стал копать дальше, то получил бы, в крайнем случае, несколько фактологических уточнений:

— Была война. Твой папа был в отпуске. Он отвез нас в Касабланку, меня и твоих трех братьев, а сам отправился вместе с седьмой американской армией высаживаться в Провансе.

В Касабланке ты и родился. — Или такие вот разъяснения правильной матери-южанки: — Я немного боялась, что будет девочка. Всегда предпочитала мальчиков.

И ни слова о том, был я желанным или нет. Вопросы такого рода у нас в семье называли *несуразными*.

Ладно, вернемся к ребенку-клиенту.

Давайте выясним всё до конца: описывая его, я не пытаюсь выставить этого ребенка презренным, безмозглым сибаритом; с другой стороны, я никоим образом не призываю вернуться к «маминым свитерам», жестяным игрушкам, заштопанным носкам, замалчиванию семейных проблем, методу Огино⁶³ и всему тому, что заставляет современную молодежь воспринимать времена нашей молодости как черно-белое кино. Нет, я всего лишь спрашиваю себя, каким двоечником стал бы, если бы по чистой случайности родился лет пятнадцать назад. Сомнений нет: я стал бы двоечником-потребителем. Отсутствие умственной зрелости я восполнил бы зрелостью потребительской, которая делает желания подростка такими же законными, что и желания его родителей. Я возвел бы это в принцип. Так и слышу себя: «У вас есть компьютер. Я тоже хочу, имею право! Тем более, если вы не хотите, чтобы я притрагивался к вашему!» И мне уступали бы. Из любви. Извращенной? Легко сказать. Каждая эпоха имеет свой язык для выражения родительской и сыновней любви. Наша предпочитает язык вещей. Не забывайте диагноз Бабушки Маркетинг: «В этом специфика». Как и множество ребят и подростков, о которых я слышу со всех сторон, я смог бы убедить маму в том, что мое соответствие окружению, а значит, и мое душевное равновесие зависит от той или иной покупки: «Мам, мне нужно, ну просто необходимо купить последнюю модель NNN!»

Неужели мама захочет, чтобы я чувствовал себя парией? Я и так чувствую себя им из-за своей хронической неуспеваемости. Неужели этого мало?

«Мам, честное слово, я без этого буду выглядеть полным дураком! (Нет, не так: „дурак“ устаревшее слово.) Я буду выглядеть придурком!»

И моя любящая мама уступила бы мне.

Только вот стал бы я лет пятнадцать назад младшим из четырех братьев? *Захотели* бы меня? Позволили бы мне появиться на свет?

Вопрос семейного бюджета, как и все остальное.

11

Один из элементов «этого», к которому не готов сегодняшний молодой учитель, — встреча с целым классом детей-клиентов. Конечно, он и сам был таким, и его дети тоже, но в этом классе он — учитель. И, будучи учителем, он не слышит голоса родительской любви и долга перед своим чадом, звучащего в его отцовском сердце. Ученик не тот желанный ребенок, любовь к которому заставляет таять сердца преподавательского состава. Тут школа, колледж, лицей, тут мы не дома, не в магазине: тут не потакают малейшим прихотям, даря подарки, тут удовлетворяют основные потребности. Потребность в образовании, тем более сложную в удовлетворении, что ее перед этим надо еще и пробудить! Тяжеленько будет учителю примирить эти прихоти и потребности! И для юного клиента безрадостная перспектива: заниматься удовлетворением потребностей в ущерб прихотям; напрягать мозги, тренируя ум; терять в шмотках, приобретая в знаниях; менять сверкающие игрушки на невидимые абстракции. И еще и платить за них, за эти школьные знания, в то время как удовлетворение прихотей не обязывает его ни к чему! Ибо — вот парадокс бесплатного образования, унаследованного от Жюль Ферри, — государственная школа остается в наши

⁶³ Метод Огино-Кнауца позволяет исходя из продолжительности менструального цикла определить, в какие его дни зачатие наиболее вероятно. Предложенный в 1924 году японским гинекологом Кюсаку Огино (1882–1975), был позднее (в 1928 году) усовершенствован австрийским врачом Германом Кнаусом (1892–1970). В плане контрацепции безопасен, но не слишком удобен.

дни последним местом в рыночном обществе, где ребенок-клиент должен *самолучно платить*, баш на баш: работой за знания, стараниями за науки, самостоятельными размышлениями за доступ к мировым интеллектуальным ценностям, постоянным присутствием на занятиях за туманное будущее — вот чего требует от него школа.

Если хорошего ученика, вооруженного способностью учитывать обстоятельства, такое положение дел устраивает, то почему оно должно устраивать двоечника? Зачем ему отказываться от статуса коммерческой зрелости ради сомнительного положения послушного ученика, положения, которое, как ему кажется, его инфантилизирует? Зачем ему платить чем-то школе, когда общество, в котором он живет, с утра до вечера бесплатно предлагает ему эрзацы знаний в виде ощущений и торговых отношений? Каким бы двоечником ни чувствовал он себя в классе, разве дома, за игровой приставкой, не становится он владыкой Вселенной? И когда до рассвета он сидит в чате, разве не кажется ему, что он общается со всем миром? Разве клавиатура не обещает ему доступа ко всем знаниям, которых только он пожелает? А битвы с виртуальными армиями не одаривают его ощущением полноты жизни? Так зачем ему менять все это на какой-то стул в занюханном классе? Зачем терпеть недовольные комментарии взрослых по поводу его четвертного табеля, когда, запершись в своей комнате, вдали от семьи и от школы, он сам себе царь и бог?

Вне всяких сомнений, если бы тот двоечник, каким я был, родился лет пятнадцать назад и если бы его мама не потакала его малейшим прихотям, он тоже вскрыл бы семейную кассу, но теперь уже чтобы сделать подарок самому себе! Он подарил бы себе такой способ бегства от всех — последний крик! — и прирос бы к экрану, растворился в нем, скользя, как на серфе, в пространстве и времени, без границ и пределов, без расписаний и горизонтов, общался бы в чате без конца и без смысла — с такими же, как он сам. Он обожал бы ее, эту эпоху, которая, не гарантируя своим двоечникам никакого будущего, одаривает их техникой, помогающей уничтожать настоящее! И был бы идеальной добычей для общества, которое успешно плодит жирных юнцов, лишая их собственного лица, собственного тела.

12

— Что? Я — жирный бестелесный юнец? (Господи! Опять он...) Кто тебе позволил говорить за меня?

Черт побери, зачем только я вспомнил о нем — об этом двоечнике, которым был когда-то, зачем только вызвал из небытия это неистребимое воспоминание? Я уже добрался до последних страниц, он не приставал ко мне с того самого разговора о Максимилиане, и вот я снова его накликал!

— Отвечай! Кто тебе позволил думать, что, если бы я родился пятнадцать лет назад, то стал бы таким двоечником-гиперпотребителем, о котором ты говоришь?

Вне всяких сомнений, это он. И, как всегда, требует объяснений вместо того, чтобы самому показать результаты. Ну ладно, давай поговорим:

— А с каких это пор мне требуется твое разрешение, чтобы писать что бы то ни было?

— С тех пор как ты начал заливать про двоечников! Я, я — главный специалист по этой теме, так мне кажется!

Интересно, можно быть специалистом в том, чем страдаешь? Неужели больные могут заменять лечащих их врачей, а плохие ученики — преподавателей? Только не давай ему распространяться на эту тему — мы так кучу страниц изведем. Скорее, скорее заткнуть ему рот:

— Допустим. Ну и каким двоечником был бы ты сегодня?

— Если бы дело было сегодня, я бы отлично со всем разобрался! В жизни ведь есть не только школа! Да-да, представь себе! Ты тут с самого начала паришь мозги своей школой, а ведь может быть и другой выход! У тебя куча друзей, которые вполне себе устроились и без школы. Ведь правда? Посмотри: Бертран, Робер, Майк, Франсуаза. Они быстро покончили со школой и живут себе. Очень даже неплохо живут, правда? Вот я, например, мог бы сегодня

стать чемпионом по электронике, а почему нет?

— ...

— А что? Тебе не нравится такая перспектива? Конечно, ты же сам не можешь разобраться с простейшим компьютером! Хочешь, чтобы я так и оставался двоечником? Взломщиком сейфов? Чтобы демонстрировать меня в качестве примера? Ладно, пусть, если бы я родился пятнадцать лет назад, я был бы двоечником, самым плохим учеником в твоём классе, и ты распространялся бы на мой счет: «Меня не этому учили, меня не для этого учили...» Ну как, подходит?

— ...

— В любом случае, кем бы я был или ни был, не в этом дело.

— А в чём?

— В том, что такое «это», к которому, как говорят молодые учителя, их не готовили, — вот главный вопрос, ты сам только что сказал.

— Ну и каков ответ?

— Все старо как мир: учителя не готовы к столкновению знания и незнания, вот и всё!

— Ну-ка, ну-ка...

— Да пожалуйста. Все эти разговоры о потере ориентиров, о насилии, о потреблении, вся эта фигня — это сегодняшнее объяснение. Завтра будет что-то другое. Да ты и сам сказал: нельзя сводить истинную природу «этого» к сумме элементов, объективно его составляющих.

— Что вовсе не делает ее понятнее.

— Так я и говорю: столкновение знания и незнания! Удар получается слишком сильным. Вот она — истинная природа «этого». Ты слушаешь меня?

— Слушаю, слушаю.

Я слушаю его, а он, взобравшись на кафедру, уверенный в себе как никогда, принимается читать мне лекцию, из которой следует, если я правильно понимаю, что истинная природа «этого» заложена в вечном конфликте между знанием, как оно понимается, и незнанием, какое оно есть на самом деле. В абсолютной неспособности учителей понять состояние полного незнания, в котором пребывают их двоечники, ведь сами-то они учились хорошо, по крайней мере по предмету, который преподают теперь! Главная трудность преподавателей, судя по всему, заключается в их неспособности представить себя *не знающими того, что они знают*. С какими бы трудностями ни было сопряжено для них самих обучение, приобретенные в результате него знания становятся им единосущны, неотделимы от них и воспринимаются отныне как нечто очевидное («Но это же очевидно!»). Они не способны представить себе, что тем, кто пребывает в данный момент в состоянии полного незнания, эти знания могут быть абсолютно чужды.

— Вот, например, ты сам, которому понадобился год, чтобы выучить букву «а»... Можешь ты сегодня представить себя не умеющим читать и писать? Нет! Так же как учитель математики не в состоянии представить, будто он не знает, что дважды два будет четыре! А ведь было время, когда ты не умел читать! Ты барахтался в алфавите, как в помойной яме! Жалкое зрелище, надо сказать! Помнишь Джибути? А теперь позволь тебе напомнить более близкие времена, когда ты считал что Алис, твоя дочка — которая сегодня читает больше тебя, — нарочно не хотела одолевать первые школьные тексты. Вот дурак-то! Папаша хренов! А сам-то как мучился? Забыл? Забыл, что самому-то понадобилось гораздо больше времени, чем ей, чтобы разобраться с чтением? Но вот мсье стал взрослым, притом *знающим* взрослым, и его уже раздражает собственная дочь, которой не дается учение! Твои учительские познания и родительская обеспокоенность напрочь лишили тебя этого чувства — чувства незнания!

Я слушаю, слушаю. Всё, он завелся, теперь его не остановишь.

— Все вы одинаковые, учительшки! Чего вам не хватает, так это спецкурса по незнанию! Вы сдаете кучу экзаменов по приобретенным знаниям, проходите разные конкурсы, а ведь первое, чему вы должны учиться, — это умению понимать *состояние не*

знающего того, что знаете вы! Здорово было бы, чтобы на каком-нибудь крутом экзамене кандидата на престижную должность в шикарном лицее попросили бы рассказать о какой-нибудь самой страшной его школьной неудаче, например о полном завале с математикой в третьем или втором классе, и чтобы он попытался объяснить причины этого явления!

— Он свалил бы вину на своего тогдашнего преподавателя.

— Не пойдет! Учитель виноват — знаем, проходили! Нет, пусть покопается поглубже, пусть по-настоящему разберется, почему так разболтался в тот год. Пусть ищет причину в себе, вокруг себя, у себя в голове, в душе, в организме, в нейронах, в гормонах — везде! И пусть еще вспомнит, как выбрался из этого! Что ему пришлось для этого сделать! Про те самые внутренние ресурсы пусть расскажет! Где они там у него водились, эти ресурсы? Я больше скажу: надо было бы еще спрашивать у начинающих учителей, почему они выбрали этот предмет, а не другой. Почему захотели преподавать английский, а не математику или историю? Из любви к предмету? Ладно, тогда пусть покопаются среди предметов, которые не любили! Пусть вспомнят о своих трудностях с физикой, о полной непригодности к философии, о поддельных освобождениях от физкультуры! Короче, надо, чтобы у тех, кто собирается преподавать, не было никаких иллюзий относительно их собственного школьного прошлого. Они должны хоть немного *прочувствовать* состояние незнания — если хотят помочь нам из него выбраться!

— Если я правильно тебя понимаю, ты считаешь, что учителей надо набирать скорее из бывших двоечников, чем из отличников?

— А почему нет? Если они выбрались из этого и помнят, какими были когда-то? В конце концов, ты мне многим обязан!

— ...

— Разве нет?

— ...

— Нет? А вот я думаю, что ты мне просто страшно обязан по части преподавания. Ведь ты и учителем стал только потому, что был раньше двоечником. Не так? Будь честным. Если бы ты блистал в классе, занялся бы чем-то другим. На самом деле ты снова вернулся на помойку Джибути — уже в костюме преподавателя, — чтобы выуживать из нее других двоечников! И все благодаря мне! Потому как ты знал, что я чувствовал. Это ведь тоже *знание*, ты не считаешь?

(Если он думает, что я доставлю ему такое удовольствие, он ошибается...)

— Я считаю, что ты уже достал меня со своей эмпатией и что любой учитель от твоих слов придет в бешенство! Если бы ты постарался в свое время, то и сам выбрался бы из помойки!

Тут он начинает злиться. Во-первых, потому, что не знает слова «эмпатия», во-вторых, потому, что после объяснения смысла слишком хорошо его понимает.

— Никакой эмпатии! К черту эмпатию! Она нам все испортит, эта ваша эмпатия! Никто не заставляет вас становиться на наше место. От вас требуется спасти ребят, которые сами не умеют попросить вас об этом, понимаешь ты или нет?! От вас требуется ко всем вашим знаниям добавить интуицию — понимание того, что такое незнание. И идите себе вылавливать двоечников — это и есть ваша работа! Плохой ученик сам возьмет себя в руки — только научите его этому! Только этого от вас и требуют!

— Кто требует?

— Я!

— Ах ты... Ну и что же ты, специалист, сам можешь сказать об этом состоянии незнания?

— Я сказал бы, что это вовсе не такая черная дыра, как вам кажется. Совсем наоборот. Это что-то вроде блошиного рынка, барахолки, где можно найти все, что угодно, *кроме* желания узнавать то, что преподают тебе в школе. Плохой ученик никогда не считает себя невеждой. Я вот точно не считал — я считал себя идиотом, а это совсем другое дело! Двоечник признает себя или недостойным, или ненормальным, или несогласным, либо ему

вообще наплевать на все, и он живет, уверенный в том, что знает массу вещей помимо тех, что вы собираетесь ему преподавать, но при этом нисколько не полагает себя НЕ знающим того, что знаете вы! И очень скоро он больше вообще не хочет от вас никаких знаний. Он ставит на них крест. Иногда это очень болезненно, но... как сказать? Ему больше нравится носиться с болью, чем пробовать от нее избавиться, это трудно понять, но это так! Он начинает выдавать собственное невежество за свою глубинную сущность. Он не *спец по математике*, а наоборот, *полный нуль*, вот так. А поскольку ему нужно компенсировать это чем-то, он блещет в других областях. Например, как я — во вскрытии сейфов. И в мордобитии — немного. А когда попадает в полицию и соцработник спрашивает его, почему он отлынивает от школьных занятий, знаешь, что он отвечает?

— ...

— *То же, что и учитель*, а именно: «это», «это»! Школа не для меня, я создан не для «этого» — вот что он отвечает! И, сам того не ведая, он тоже говорит о жутком столкновении незнания и знания. Его «это» сродни учительскому. Учителя считают, что их готовили не для того, чтобы отыскивать в классе учеников, а те уверены, что родились не для сидения там. С той и другой стороны — одно и то же «это»!

— Ну и как же справиться с «этим», если эмпатия тут противопоказана?

Он начинает мяться.

А я настаиваю:

— Ну так как? Ты же все знаешь, ничему не учась. Подскажи *средство* — как преподавать, не будучи подготовленным к «этому»? Есть у тебя на примете какой-нибудь метод?

— В методах-то как раз недостатка нет, кругом только одни методы! Вы только и делаете, что прячетесь за разными методами, хотя в глубине души прекрасно знаете, что никакой метод тут не поможет. Потому что ему кое-чего недостает.

— Ну и чего же ему недостает?

— Не могу сказать.

— Почему?

— Это неприличное слово.

— Хуже «эмпатии»?

— Определенно. Слово, которое совершенно нельзя произносить ни в школе, ни в лицее, ни в университете, ни еще где-нибудь в таком же месте...

— А все-таки?

— Нет, правда не могу...

— Ну, давай, давай!

— Говорю тебе, не могу я! Если ты только высунешься с этим словом в разговоре об образовании, тебя линчуют на месте.

— ...

— ...

— ...

— Любовь.

13

Это правда, у нас считается неприличным, ведя речь о преподавании, даже заикаться о любви. Все равно что в доме повешенного говорить о веревке.

Чтобы описать ту любовь, что испытывают мадемуазель Г., Николь А., учителя, о которых я рассказал на этих страницах, большинство тех, кто приглашает меня к себе в класс, и все те неутомимые труженики, коих я не знаю, лучше прибегнуть к метафоре.

Итак, метафора.

И в данном случае метафора крылатая.

Опять Веркор.

Утро, прошлый сентябрь.

Самое начало сентября.

Я уснул поздно над одной из страниц этой книги. Просыпаюсь в нетерпении поскорее продолжить. Уже приготовился вскочить с кровати, но меня останавливает какой-то тихий шум. Что-то пищит вокруг дома. Тоненькие такие, пронзительные попискивания со всех сторон. Ах да! Собираются улетать ласточки! Каждый год примерно в одно и то же время они назначают друг другу свидание на электрических проводах. Поля и обочины дорог покрываются партитурами. Они готовятся к перелету. И этот шум — от радости встречи. Те, кто еще кружит в воздухе, запрашивают разрешение присоединиться к тем, кто уже сидит на проводах, дрожа от нетерпения полететь за горизонт. Скорей, скорей! Мы летим, летим! Они летят, летят, с севера на юг, хичкоковскими батальонами! Именно туда и выходят окна нашей спальни — на север и на юг. Широкое — на юг и маленькое окошко — на север. И каждый год повторяется одна и та же драма: часть ласточек, обманутые прозрачностью расположенных друг против друга окон, разбиваются о стекло маленького окошка. Так что сегодня утром — никакого писательства. Я открываю северное окошко, распахиваю южное окно, снова залезаю в постель, и мы целое утро наблюдаем, как через нашу комнату пролетают эскадрильи ласточек — неожиданно молчаливых, возможно напуганных этими двумя лежащими фигурами, которые принимают их парад. Только два узких оконца по сторонам большого окна остаются закрытыми. Места достаточно — между ними могли бы пролететь все птицы мира. Однако без неприятностей никогда не обходится: две-три идиотки обязательно врежутся в эти оконца! Примерно такова и пропорция двоечников. Наших отклонений от нормы. Тех, кто не в общем строю. Тех, кто не идет прямыми путями. Тех, кто резвится на обочине. В результате — удар о стекло. Чпок! И на ковер! Тогда кто-то из нас встает, берет оглушенную ласточку в руки — она почти ничего не весит, косточки, наполненные ветром, — ждет, когда она очнется, и выпускает за окно догонять подружек. Ожившая птичка улетает, еще чуть не в себе, чертит по небу зигзаги, а потом нацеливается прямо на юг и исчезает в своем будущем.

Вот такая метафора, может, и не самая лучшая, но именно такова любовь преподавателя, чьи ученики летают как одуревшие птицы. Этим и будут заниматься всю жизнь мадемуазель Г. или Николь А. — выведением из комы стайки оглушенных ласточек. Не всегда их старания увенчаются успехом, будут и провалы, некоторые так и не придут в сознание, так и останутся лежать на ковре или разобьют себе голову о следующее стекло; в таком случае они оставят в нашей совести зияющие ямы угрызений, — как яма в глубине нашего сада, в которой покоятся погибшие ласточки; — но все равно мы снова и снова будем пытаться помочь им, и у нас будет получаться. Это — *наши* ученики. Наши симпатии и антипатии по отношению к тем или иным из них (вполне реальные, надо сказать) не в счет. Попробуй, угадай, кого из них и как мы любим или не любим! Речь ведь не об этой любви. Оглушенную ласточку надо вернуть к жизни. И всё. Точка.